

Валентин Лукин

БЕЛЫХ ЯБЛОНЬ ДЫМ





Валентин Лукин

БЕЛЫХ ЯБЛОНЬ ДЫМ



г. Чкаловск

2017

В.П.Лукин “Белых яблонь дым”.
компьютерный набор - Г. Сомов
обложка - В. Виноградов
виньетка - В. Лукин

Детские, отроческие годы... Годы первой юности... Почему так приятно обо всём этом вспоминать? Почему, когда вдруг всплывёт в памяти какой-то кусочек из того времени, то о нём всегда хочется кому-то рассказать? Почему об этом, давно прошедшем, вспоминается как о самом хорошем, что было в жизни?

Да потому, что те далёкие события, теперь уж основательно подзабытые, они самой невозможностью восстановить всё в точности, тревожат, бережат память. Что-то помнится очень хорошо, а что-то брезжит перед внутренним взором как мираж.

А потом – просто провал, напрягайся, не напрягайся – не вспомнить. Мы начинаем заполнять пустоты собственной выдумкой, а потом в эту выдумку искренне верим, и пусть кто-то скажет, что этого не было, что всё было не так.

Потом ещё вот что – даже и то, что действительно было в жизни, по прошествии значительного срока видится уже несколько под другим углом, в другом ракурсе и окрашивается в иные трогательные, приятные для души тона. Иначе говоря, в голове складывается некая сказка. Сказка нашего детства, нашего прошлого. Ну, не совсем уж небылица, но и далеко не протокольный документ.

Но хочется, хочется кому-нибудь рассказать эту сказку-быль. Вот и я попытался воскресить в памяти какие-то картинки, обрывки, фрагменты того, что ушло давным-давно, прошло безвозвратно, как с белых яблонь дым.

Как быстро всё прошло! Но и за то слава Богу – ведь всё-таки было!

Её давным-давно уж нет, нашей старенькой деревянной начальной школы. Даже и само место, где она находилась, найти и с точностью указать сейчас невозможно, потому что более полувека сокрыто оно под толщею вод Горьковского водохранилища. Хорошо, что остались хотя бы фотографии школы. Есть такая фотография и у меня.

На ней всё видно чётко – с северной стороны четыре высоких окна с полукруглым верхом, за этими окнами находилась просторная классная комната. К основному зданию прилеплен сбоку небольшой пристрой с маленьким окошечком, тут жила уборщица тётя Маша. А с другого угла – высокое, с перилами, крылечко. Вокруг приземистого, будто вросшего в землю здания школы стоят большие, очень старые берёзы. И всё это помнится, во всяком случае, припоминается...

Однако на фотографии чётко виден только сам внешний облик школы, а вот та давнишняя жизнь и всё, что волновало совсем ещё детскую душу, теперь, через многие-многие годы, мреет в памяти будто бы сквозь туман, или же сквозь тонкий полупрозрачный лист папиросной бумаги, какою прикрывались снимки в старых фотоальбомах. Какие-то смутные образы, обрывки незамысловатых сюжетов манят и дразнят невозможностью вспомнить подробности. Так силишься вспомнить уплывший в безвозвратность сон.

Но вот я всё пристальней, сосредоточенней вглядываюсь в эту дорогую для меня фотографию, и чем дольше смотрю, тем яснее начинают проявляться

события, лица. Они как бы сами собою уже медленною чередой выплывают, выглядывают из закоулков памяти. И наконец, будто от лёгкого дуновения перевёртывается тонкий лист папиросной бумаги, или каким-то волшебным образом он вдруг улетучивается, тает, исчезает мутная пелена, чётко и ясно проступают очертания и цвета различных картин, оживают действующие лица, ощущаются даже звуки, запахи...

В середине лета в один из его тягуче-тёплых дней, в час, когда день этот незаметно и медленно склонялся к томительно-задумчивому вечеру, к нам домой пришла высокая сухая женщина с резкими чертами бледного и немолодого уже лица, с добрым и немного усталым взглядом тёмно-карих глаз. Она приветливо поздоровалась, и мама поспешно поставила перед нею табурет, предварительно ошвырнув сиденье ладонью.

— Добро жаловать, Евдокея Фёдоровна! — Мамины глаза так и светились радушьем. — Каким это ветром к нам тебя занесло?

А женщина тем временем, подсев к столу, вынула из сумочки тетрадку и карандаш.

— У вас, Мария Дмитриевна, ещё один ученик подрос. Пришла записать. В первый класс набираю учеников.

— Да ну! А мне — всё дела да толкотня — и невдомёк, што ему в школу время пришло. Ах ты, батюшки! Да ведь у его ни одежки, ни обуви путной нету. И сгношить-то не знаю из чего да как. Дома-то, вишь, каки никаки обноски надел — всё ладно. А в школу-то эдак-ту уж негоже. Ах ты, Господи, ах ты, батюшки мое! Чего и делать-то ума не приложу.

— Да не волнуйтесь, не беспокойтесь Вы так. До первого сентября ещё месяц с лишним. Что-нибудь придумаете...

Учительница ласково-внимательно глянула на меня, набывчившегося и забившегося в угол:

— Готовься к школе, дружок!

И пошла дальше, чтобы записать в школу моих дружков-приятелей Мишку Ратманова, Саньку Бакловского, Витеньку Куделина.

Учительницу мама знала уж больно хорошо. Брат мой Витюха был на четыре года меня постарше, он только что закончил курс наук в начальной школе и учился как раз вот у неё, у Евдокии Фёдоровны. Примерным, образцовым поведением Витюха отнюдь не отличался и бывало, что приходил с уроков насупленный, аж мрачнее тучи. Мама уж знает в чём дело, но спрашивает:

— Што тако?

— Училка сказала без матери в школу не приходи...

— Училка... Не училка, а учительница. Евдокея Фёдоровна. Чево ты там начудоквасил?

И вот они идут в школу — мама впереди, а чуть поотстав с понурым видом Витюха. Бывает, что и я впитруску, едва поспевая, бегу за ними.

— Отец был бы живой, он бы тебе прописал лекарства-та! Эдак-ту из ветра-та не выбегал бы! А то виш-ко волю взял! Совсем от рук отбиватца!

Так что поводов не только познакомиться, но и хорошо узнать Евдокию Фёдоровну, у мамы хватало. Но вот фамилию её она та и не научилась выговорить правильно. Мудрёная у неё была фамилия — Авситидийская. И мама всё путалась:

— Авсидийска... Авситийска... Да тъфу ты, провалитца! Жeнщина хорóша, а фамельё никуда не годно!.. Како-то не руссько...

Теперь вот мне предстояло четыре года учиться, набираться ума разума всё у неё же, у Евдокии Фёдоровны.

Когда до школы оставалось совсем немного, считанные дни, начались спешные приготовления. Старшая сестра Клава с сантиметром в руках крутила меня вокруг оси то справа налево, то слева направо, снимая мерку в плечах, в талии, от плеча до запястья, от пояса до щиколотки. Порывшись в мамином сундуке, нашли какие-то не очень ещё заношенные вещи, и вот заработали большие портновские ножницы, вот бойко застрекотала «зингерская» машинка. Через неделю я уж примерял новые штаны, почти что брюки! И новую блузку-кофточку. Старший брат Шурка тоже принялся за дело, пошвырялся в своём чемодане, кое-какие обрезки кожи нашёл, и на живую руку стачал мне новые тапочки. Ого! Такой одежды и такой обуви у меня отродясь не бывало!

Наконец в Когизе купили мне новый, не хуже, чем у Буратино, букварь, разрезную азбуку, пропись, учебник по арифметике и тетрадей в косую линейку и в клеточку. Портфель – портфель уж ладно, походишь пока с Витюхиным. Правда, Витюхин портфель внутри залит чернилами, пообшаркался за четыре года, и одного железного уголка из четырёх не хватает, да что же теперь делать, сойдёт и такой. Витюха в пятый класс пойдёт, в каменную школу, тут дело серьёзное, ему купили дерматиновую полевую сумку с ремнём – носить через плечо.

Вот так общими усилиями собрали всё-таки меня в школу.

Только когда же, когда придёт этот день? Терпежу уж нету. Но всё приходит в своё время, в свой черёд пришло и первое сентября. Солнышко с утра пораньше в окошки заглядывает – как там, готов ли к школе ученик, всё ли у него в порядке. Готов, готов. Только вот новая рубашка немного шею царапает, да штаны чуть великоваты. Ну, с Богом, перекрестила меня мама.

Со всей улицы – даром что и улица-то каких-нибудь десять-двенадцать домов – в школу нас собралось четверо пацанчиков – целое отделение! И вот уж мы бежим, семеним, обгоняя друг друга, а с других улиц, из проулков тоже идут ребятки и девчонки – разнаряженные, расфуфыренные, с бантами да с цветами. Мамаши сопровождают их, ведут за ручку.

Нас никто не провожает, да и ни к чему оно пристало – сами давным-давно знаем где она, эта школа. Да вот она уж и показалась – приземистая, деревянная, но под железною кровлей. Окна высокие, с полукруглым верхом. Рядом со школой стоят большие, старые берёзы. И школа старая, сто лет ей, наверно, но ставили её люди испытывшие толк в своём деле – стоит себе и нив какую сторону даже ничуть не шелохнётся, не ворохнётся.

И вот мы тесною гурьбой топчемся, толчёмся в коридорчике школы, и вот учительница раскрывает перед нами двери в классную комнату. Он, класс для занятий, всего один тут и есть. Рассаживаемся за парты, для первого раза кому с кем хочется.

— Здравствуйте, дети. Меня зовут Евдокия Фёдоровна. Я буду учить вас читать, писать, считать...

А дальше всё почти что так же, как в старом –старом кинофильме «Сельская учительница».

Евдокия Фёдоровна в строгом, тёмно-синем костюме – юбка и жакет. И блузка синяя, в горошек. Волосы с проседью, одна прядь совсем белая, гладко расчёсаны на прямой пробор и сзади собраны в узел.

Ну что же – теперь можно немного и осмотреться. Стены в классе бревенчатые, тёсанные и вытесаны так гладко что даже тускло отсвечивают на свету. А от давности они стали коричневые, как будто бы подкопчённые немного, и глазки, совсем уже тёмные глазки сучков повсюду. И потолок, и пол – тоже всё деревянное, некрашенное.

На передней стеневерху под потолком висит портрет Ленина в рамке, а под ним на красном материале белым написано: «Учиться, учиться и учиться – так завещал великий Ленин.» Слова эти я прочитал сам, самостоятельно. От брата Витюхи все буквы узнал я лет в пять. Мама по зимам, управившись со стряпнёй, плела корзинки на продажу, при работе у неё оставалось много мелких, ни на что уже не пригодных клычиков, обрезков тала, и мы с Витюхой на полу строили из них домики, а иногда составляли буквы. В шесть лет я уже читал совершенно свободно и вместе с Витюхой ходил в детскую библиотеку, брал книжки.

Учительница между тем, заглядывая в тетрадку, называла наши имена и фамилии, и мы по очереди, пока ещё смущённые и несмелые, вставали с мест. В первый день Евдокия Фёдоровна не слишком уж долго напрягала нас, почитала сказку, сказала что нужно приготовить и принести назавтра да и отпустила с Богом.

Шумной, резвой гурьбой, обгоняя друг дружку, торопятся маленькие сорванцы. И тут Колька Андронов ставит подножку слишком уж ретиво, по его мнению, забегающему вперёд Витеньке Куделину, и тот, спотыкнувшись, пашет носом землю. Витенька мал росточком, но задирист и самолюбив сверх всякой меры. Петушишком насккивает он на Кольку. Будто сухая солома от спички, вспыхивает драчка. Не трогай наших! Вот тебе – в поддых, в нос, в глаз! Нас четверо и их четверо. У них, кроме Кольки, Юрка Аверин, Вовка Шутов, Юрка Киселёв. В горячке потасовки я и не заметил кто из них наступил мне на ногу, и тапочка – моя новая тапочка! – с треском разрывается пополам.

Противники наши, почуяв, что дело пахнет керосином, с перепугу задают дёру. Вслед им летят ругательства из непечатных выражений. Да, да – всему такому мы уж давным-давно научились от уличной шантрапы. Но мне от этого легче не становится. Первый день учёбы, так хорошо начавшийся, и на вот тебе – совершенно испорчен и омрачён нелепым нежданно-негаданным случаем.

Обутый в одну тапочку, а другая, рваная, в руке вернулся я домой. Надо ли говорить, что такое обстоятельство совсем не обрадовало маму.

— О, Господи! Теперь ещё одно дитяtko будет мне нервы дергать. Как тебя угораздило?

Самое же главное – у меня были серьёзные и небезосновательные опасения, что Шурка, когда узнает, устроит мне хорошую баню.

Но вот, вернувшись с работы и осмотрев тапочку, он буркнул под нос:

— Так и знал. Матерьял был говённый. Ладно, завтра новые стажаю...

Назавтра в школу пришлось обувать старенькие стоптанные Витюхины башмаки. По дороге мы с приятелями договорились проучить чужаков и с нетерпением дожидались конца занятий.

После уроков мы быстренько убежали вперёд, будто бы опасаясь возникновения новой драки с нашими неприятелями, однако же, улучив удобный момент, незаметно схоронились за поленницей. Колька Андронов со своей командой, возвращаясь домой, всё же чуяли какой-то подвох, шли тесной кучкой, озирались по сторона. Но вот они поравнялись с поленницей, и мы, как смерч, как ураган, с дикими воплями налетели на них из засады и дрались, как львы. Кто с разбитой губой, кто с красной соплей у носа, кто с синяком под глазом спасались наши враги позорным бегством.

Учительница же наша день за днём терпеливо и внятно втолковывала нам, неразумной мелюзге, как приличествует вести себя в классе.

— Когда я вхожу в класс, всем нужно встать у парты возле своих мест. Вот так, вот так. Садитесь дети.

— Сидеть нужно прямо, не горбиться. Руки положить перед собой, одна внизу, другая сверху. Так, хорошо.

— Вертеться и разговаривать во время урока нельзя. Из класса без разрешения выходить нельзя. Если кто-то хочет что-нибудь спросить, надо поднять руку. Если я задаю вопрос, прежде чем ответить, надо поднять руку. Все поняли? Хорошо.

На одном из первых же уроков учительница наказала всем, чтобы мамы или старшие сёстры сшили нам кассы для разрезной азбуки, и ещё велела сделать и принести в школу счётные палочки. Сестра Клава на машинке сшила мне замечательную кассу, а счётные палочки,

первый десяток, ровненько и аккуратно острым ножиком из тала нарезал я и сам.

Мне касса да азбука вроде бы и ни к чему, однако кто же будет делать для меня исключение, приходится делать всё то же , что и все. И вот перед каждым из учеников лежит матерчатая касса с нарезанными буквами в кармашках. У учительницы буквы крупные, чтобы всем было видно. Поднимет она букву вверх, и все ищут у себя в кармашках такую же.

— Запомните, дети. Это буква «а».

Прошёл месяц, другой, и вот уж даже Мишка Ратманов – от напряжения глаза выпучил, и пот градом блесит на лбу, но читает, читает в букваре: «Ма-ша мы-ла ра-му...» Витенька Куделин – тот буквы знал ещё до школы. У него дедушка Иван Васильич заядлый книгочей, из библиотеки приносит полную авоську романов и читает, читает. И бабушка, тётя Липа, тоже читает, только больше божественное, толстые книги с толстыми обтрёпанными по краям, будто мыши обгрызли, листами. Тёмные, коричневые почти что, страницы, настолько они стародавние, и буквы по ним ровно чёрные жуки ползают, совсем не похожие на те, что в обычных книжках. От них, от бабки с дедкой, и узнал Витенька буквы. Бабка с дедкой души не чаяли во внуке и звали его Витенькой. И мы подхватили – Витенька да Витенька. Так и прилипло. Вроде бы и не прозвище, но какая-то доля издёвки всё равно тут присутствовала. Заводился Витенька с полоборота. Чуть что – тонкие вывернутые ноздри раздует, побелеют ноздри, и глаза – светло-светло голубые – тоже совсем станут белыми. Что твой кипяток! Не трогай, обожжёшься!

Так вот, у Витеньки ученье вроде бы поначалу пошло и неплохо. Но , чем дальше, тем больше стеснялся он ваказать своё рвение за прилежание в учёбе. Это не радовало Витенькиных родителей, и уж совсем огорчало деда и бабуку, ведь они возлагали на него такие надежды!

На Саньку Бакловского никто никаких надежд не возлагал. Ну пошёл в школу и пошёл, и ладно. Учится так учится, а не учится, что же – ему жить.

С Санькой мы жили совсем рядом на одном порядке улицы и в дошкольное время якшались так, что не разлей вода. Все дни напролёт летом – на реке, зимой – где-то на задворках, разные игры-забавы. В последнее лето перед школой мы с ним как-то незаметно, незаметно, но так приладились к куреву, что тяга к этому зелью стала по-настоящему необходимой.

Табак-самосад выращивали и готовили на продажу и у них в семье, и у нас, так что кормушка была совсем рядом, дома на полатах в полотняном мешочке, и если из мешочка, когда никто не видит, взять горсть махры, то это всё сходило с рук. Но сходило до поры до времени. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Люська Тырдова подглядела, как мы с ним в овраге зобали в кулак самокрутки «козьи ножки», и наябедничала об этом брату моему Шурке, отца в то время не было уж в живых. При отце я бы и не посмел заниматься такими делами. Боялись мы отца, как огня. Шурка на правах старшего брата взял на себя роль и обязанности воспитателя, нашёл на дворе обрывок толстого провода в изоляции и выпорол меня самым жестоким образом. Ни забыть , ни простить ему этого я не мог многие годы, но курить перестал. До Санки

никому никакого дела не было, ну, может, и ругали когда, но он так и продолжал потихоньку покуривать.

Вот начался очередной учебный год. Школьная техничка тётя Маша позвонила в колокольчик, и мы расселись за парты. Сегодня учительница раздала нам собранные накануне тетрадки в косую линейку, все тетрадки она самолично подписала красиво, самым аккуратным образом. И у всех на первой странице были нарисованы чуть покосившиеся в правую сторону палочки. Теперь нам самим предстояло написать такие же палочки, для первого раза хотя бы карандашом.

Санька сидит на последней парте, и никакие палочки ему на ум не идут. Стибрить горсточку самосаду не удалось ни вчера, ни тем более сегодня. А покурить страсть как охота! Какие уж тут палочки, до палочек ли. Едва дождавшись переменки, он уговаривает меня удрать с уроков, пойти вместе к пивному павильону Никанорыча, поискать бычков. Там завсегда бывают жирные бычары, от «Беломора», от «Казбека» - метр курум, два бросаем. Таких две-три штуки и накуришься досыта, до зелени в глазах. Да ещё и в прок можно насобирать. Всё так, но я наотрез отказываюсь. Завязал. Санька с сожалением, с тихой грустью смотрит на меня и незаметно смывается из класса.

И на другой день повторил такой же манёвр – понравилось. Но это не понравилось учительнице, и она написала записку, чтобы привёл в школу родителей. Санька этой запиской вытер задницу в уборной. Пришлось тогда Евдокии Фёдоровне самой идти к Санькиным родителям, гора не идёт к Магомету – Магомет идёт к горе. Отец преподавал Саньке урок, после чего задница его целую неделю напоминала о себе. Санька возненавидел училку, но стал умнее – заранее

запасал щепоть махры, или пяток чинариков, а на перемене убегал за угол школы, чтобы утолить никотинный голод.

Тем временем наши сражения и битвы с командой Кольки Антронова не прекращались, и если сегодня кой грех драки не было, то назавтра – обязательно. Я погрешил бы против исторической правды, если бы сказал, что они всегда заканчивались в нашу пользу.

Колька с первых же дней держал себя чересчур высокомерно и надменно. Он из всех сил старался и пыжился изображать из себя эдакого завязатого блатаря, говорил с хрипотцою и сквозь зубы. Также сквозь зубы производил тонкие длинные плевки. Мы тоже умели так, но у него получалось лучше. Из-за неправильного прикуса подбородок у него был чуть выдвинут вперёд, что ещё больше только придавало ему надменности.

Колька был коварным пареньком, и нередко они с Юркой Авериным исподтишка подлавливали кого-то из наших то ли в уборной, то ли в раздевалке, или на улице, и тут уж, конечно, силы были неравными.

Бывало, что два маленьких петушишка яростно сцеплялись в драке и прямо в классе во время перемены, девчонки бежали за Евдокией Фёдоровной, и та еле-то еле растаскивала драчунов в стороны.

В особо тяжёлых случаях приходилось прибегать к помощи тёти Маши. Она одинокая пожилая женщина, жила прямо при школе в махонькой комнатке-боковушке. В её обязанности входило не только полы вымыть, но ещё и сторожить школу, а в зимнее время и печки топить. Не знаю, что бы она смогла сделать, если бы вдруг кому-то вздумалось залезть в помещение школы, но такого и не случалось никогда. Видимо, жулики знали, что украсть там совершенно нечего. В

классе – портрет Ленина, в пионерской комнате – портрет Сталина, горн да барабан, это всё и задаром никому не надо.

У тётки Маши тоже всех богатств, как у нас мама говорила, грош в кармане да вошь на аркане. В её комнатке-конурушке вся меблировка состояла из простого некрашенного стола да приставленного к стене сундука с убогими пожитками, на этом сундуке тётя Маша и спала, кровать поставить было уж некуда. Правда, в уголке стоял ещё низенький шкаф посудничек. А для того, чтобы в школе не хозяйничали мыши, тётя Маша держала рыжего полосатого кота Ваську. Но мне кажется, что кота она завела больше для того, чтобы не так скучно было коротать длинные, тёмные зимние вечера. Вдвоём-то всё веселей, кот – он как-никак, а живая душа.

Сейчас трудно сказать, были ли у тётки Маши в каких краях дети. Скорей всего и не было. Не знаю. Но факт тот, что душевной теплоты и доброты у неё с избытком на всех на нас – и хулиганистых и смиренных, на вертопрахов и тихонь хватало. Всех любила, как собственных деток, или лучше сказать, внуков, потому что, конечно же, мы больше ей годились во внучат.

Тёте Маше, если рассудить сегодняшними мозгами, должно быть, вовсе не сладко жилось на те деньжонки, какие ей платили здесь, но она уже и за то, что имела безмерно благодарна была Господу Богу, как же – и крыша над головой, и кусок хлеба свой на всякий день. Мне так и представляется, что по вечерам, управившись с делами, тётя Маша вынимала из сундучка иконку и творила молитвы ей, Пресвятой Богородице матушке, что так хорошо, так уютно устроила её, тётю Машину, жизнь.

Всё это так, но бывали моменты, и не так уж редко, когда управы на сорванцов у одной Евдокии Фёдоровны не хватало, и хочешь, не хочешь – приходилось подключаться к их усмирению и тётке Маше.

Вот как-то раз один из мальчиков-хулиганчиков Вова Шутов принёс в школу пугачик. Что за пугачик? Да, теперь мало кто и знает, что это такое. А вот что. Пугач – пукалка делается из медной трубки, с одного конца сплющенной и загнутой в виде буквы «Г» и таким же образом загнутого гвоздя. Гвоздь по длине подбирается побольше трубки, и чтобы в дырку влезал. Эта система «трубка-гвоздь» соединяется с помощью резинки. Трубка набивается серой со спичек, а гвоздь заряжается натяжением резинки, в заряженном положении он упирается в стенку трубки. Лёгкий удар головкой гвоздя во что-нибудь твёрдое, и пугачик так щелканёт, так пукнет!

Вова Шутов пугачиком щелкнул прямо во время урока, и учительница решила удалить его из класса. Но Вова так цепко ухватился за края парты, что и клещами не оторвать. У Евдокии Фёдоровны по бледным щекам пошли алые пятна. Но вот пришла тётя Маша, легонько взяла Вову за косичку под затылком, потянула вверх, и Вова покорно встал:

— Тётъ Маш! Всё, всё! Я сам, тётъ Маш!

Евдокия Фёдоровна пыталась привить нам вкус к играм культурным. Однажды она прочитала нам сказку про репку и решила сделать её инсценировку.

— Посадил дед репку! Выросла репка большая-пребольшая. И вот на стуле, изображая репку, сидит, действительно, плотная и крепкая, как репка Миля Петухова.

— Тянет, потянет – вытянуть не может!

Дед, Вова Кукушкин, из самых смиренных, больше никто не согласился на эту роль. А вот и бабка – рослая и полная девочка Аля Матвеева.

— Тянут, потянут – вытянуть не могут!

Быстренько нашлись Внучка, Жучка и Кошка.

— Тянут, потянут – вытянуть не могут!

И вот наконец самая маленькая из всего класса, самая шустренькая – Тамара Калашникова – и впрямь Мышка!

— Тянут, потянут – вытянули репку!

Сколько радости у ребят! Да только не у Кольки Андропова, не у Вовы Шутова, не у Саньки Бакловского и уж тем более не у Валеры Батунова. Они сидят, хихикают в кулак. Они ждут, не дождутся конца уроков, чтобы пойти на задворки школы, сыграть там на деньги в стенку, затянуться разок другой табачком-самосадам, поматершинничать, завершить всё это дело хорошей потасовкой и только тогда разойтись по домам.

Я тоже тащился за ними, но всё-таки с каждым разом всё меньше и меньше нравилась эта компания. Чего стоит один только Колька Андронов! Из под полуприкрытых век со снисходительной надменностью, глядят его как бы уже усталые, чуть навывкате, со свинцовым отблеском наглые глаза. Бледно-землистый цвет лица, постоянно шелушащиеся от облизывания и сплёвывания губы. Ещё он имел привычку прибавлять в конце слов «с» – школа-с, парта-с, ручка-с. Тьфу! Откуда он всего такого нахватался? Так руки и чешутся дать ему в нос.

Валерка Батунов и Лёнька Лазарев живут совсем рядом со школой. Валерку каждое утро в школу провожает лохматый пёс Шарик. Поначалу он вместе с хозяином заходил в класс и ложился под парту. Спит

мирным сном, но во время урока, то ли Валерка наступает ему на хвост, то ли приснится что, но Шарик начинает громко, заливисто лаять. Его выпроваживают на улицу, однако верный пёс терпеливо ждёт Валерку на крыльце до тех пор, пока не кончатся уроки.

У Валерки в организме имеется одна заковыка – до сих пор он обдувается по ночам, штаны кое-как на нём сохнут от тепла его же собственного тела, В этих же штанах он идёт и в школу. От него идёт резкий, застарелый запах мочи, поэтому и сидеть с ним вместе никто не хочет и сидит он один на самой задней парте.

Учится Валерка из рук вон плохо, и уж не могу сказать точно, но, по-моему, его сразу же в первом классе оставили на второй год. Если Валерке кой грех перепадало в дружеских потасовках, то на другой день на крылечке появлялся его старший брат, отвесив обидчику хорошего пендаля, он расставлял точки над «и».

Лёнька Лазарев имел зелёные и вытаращенные, как у лягушки, глаза и широкие, как лопаты, передние зубы-резцы. Одна из двух лопат наискось отломлена, должно быть, где-то упал не очень удачно. У Лёньке в сумке имелось прожигательное стёклышко, и он любил после уроков на наружной солнечной стене школы, где-то в укромном уголке выжечь с помощью этого стекла какое-нибудь непечатное слово из трёх, из пяти букв. Какие другие, а эти он знал хорошо.

Лёнька и одной минуты не мог усидеть спокойно за партой, вертелся и подпрыгивал так, как будто ему в задницу втыкался острый гвоздь, потому и получал беспрестанно замечания. В то же время отличался сообразительностью и живостью ума, в особенности ему легко давался счёт. У некоторых ребят дела со

сложением да вычитанием продвигались туговато, но – не у Лёньке. Он схватывал всё на лету.

Тем временем в конце сентября со старых берёз, окружавших школу, обильно посыпалась листва, и ветром кружило её будто жёлтую выюгу. Листья собирались и ярко светились на коричневой от ржавчины крыше школы, на ступеньках крыльца. А у мальчишек и девчонок, семенящих по усыпанной листвою дорожке, к сумкам, к портфелям за бечёвку подвязаны мешочки с чернильницами-непроливашками. Хотя и непроливашки, а бывало, что и проливались всё-таки из них чернила, и если чернильница в сумке, то и букварь, и прописи, и тетради – всё будет в лиловых пятнах, особенно когда угораздит съездить кому-нибудь этой сумкой по кумполу. Чернильницы в мешочках, а ручки со стальными перьями, карандаш и ластик в пенале. Всё это означает, что мы потихоньку начали осваивать письмо. Самые хорошие пёрышки это «пионер», «лягушка», «восемьдесят седьмое». Они дают хороший жирный нажим и тонюсенькую волосяную линию. Палочки, петли, овалы. Как бы кляксу только в тетрадь не поставить, пёрышко время от времени приходится очищать от загустевших чернил перочисткой, это такая штучка из сшитых вместе в несколько слоёв кружков материи.

А тут уж и дожди зачастили, и холода завернули. Ребятам после уроков гуртиться за школой стало не с руки. И Саньке Бакловскому при такой погоде шмоняться по базару в поисках бычков тоже что-то не охота.

Накануне октябрьских праздников учительница нам объявила, что тех, кто учится без двоек, будут принимать в октябрята. У меня не только двоек, а кроме

пятёрки вообще никаких других отметок нет. Зато на снурочке висит на шее маленький простенький крестильный крестик. Евдокия Фёдоровна пришла к нам домой и ну меня хвалить, ну хвалить. А потом стала убеждать маму снять с меня этот крестик, потому, дескать, что октябрятская звёздочка и крестик вещи несовместимые. Что, мол, время теперь не такое, чтобы крестики носить.

Маме это совсем не понравилось, да и мне крестик совсем не мешал. Как-то привык к нему. Вот молитвам меня учила мама – тут да, тут что-то не нравилось. Уж больно много было непонятных слов в молитвах.

И всё-таки крестик пришлось снять. Когда до 7 ноября оставалось совсем немного, нас, примерных мальчиков и девочек, завели в пионерскую комнату, она обыкновенно бывала заперта, пришла чересчур бойкая и, должно быть, тоже примерная, пионерка, наша будущая вожатая, и нам устроили торжественный приём в октябрята.

Девочки ради такого торжества не в чёрных, как обычно, фартуках, а в белых, даже белоснежных. Да, девочкам в те годы полагалась такая вот форма – повседневная, коричневое платье и чёрный фартук и праздничная с белым фартуком и белыми же нарукавниками. Для мальчиков достаточно было белого свежeweстиранного подшитого воротничка. На приодетых, нарядно-парадных примерных девочек и мальчиков с явным одобрением смотрел со стены мудрый Иосиф Виссарионович Сталин. Под портретом на красном материале крупными белыми буквами – чтоб знали: «Товарищ Сталин – наш вождь учитель и друг.» Так-то.

Краснощёкая, красногалстучная вожатая бойко затараторила:

— Октябрюта — дружные ребята. Октябрюта не оставляют друзей в беде. Сильные ученики помогают слабым. Они должны подтягивать их в учёбе.

Нас разбили на «звёздочки» по пять человек, и ко мне прикрепили Мишку Ратванова, это, значит, чтобы я его «подтягивал». Мишка Ратманов — паренёк тихий, покладистый, тихий, однако же тупой, как колун, ну, совершенно-то неспособный к учёбе. С первого класса и на много последующих лет надели мне на шею этот хомут, это наказание Господне — шефство над таким вот гомо сапиенсом.

Вожатая приходила к нам — как часто — это я уж не помню. Старшие «звёздочек» отдавали ей рапорт, и затевалась какая-нибудь «культурная» игра. Но меня как-то подташнивало от этих игр. Уж больно занудное, скучное что-то. Наши дворовые доморощенные игры куда интересней. Игра на деньги «в стенку» — ладно, я про неё не говорю. Тут одна жильда, а жильда всегда кончается дракой. Потом и холодно уже стало на улице играть «в стенку». И теперь нашло какое-то поветрие, какая-то болезнь, вся пацанва перешла на игру «в пёрышки». Ну, прямо, как чума, как зараза напала.

А игра совсем простая. Вот, скажем, договорились играть ты да я. Ты кладёшь своё пёрышко на стол, да и не обязательно, что на стол, можно на подоконник, на пол — это не важно, была бы ровная поверхность. Пёрышко кладётся кверху спинкой. Я своё пёрышко подвожу под него, под брюшко и делаю щелчок. Перевернулось пёрышко кверху брюшком — всё, теперь оно идёт в мой карман. А если нет — твоя очередь делать

щелчок. И так пёрышки с переменным успехом кочуют из одного кармана в другой.

У ребяток в карманах или в сумках всегда имелось десяток-полтора пёрышек самых разных фасонов – «лягушка», «пионер», «солдатик», «скелетик»...

Втихаря, если не видит учительница, играли ещё в жёстку. Жёстка – это кусочек свинца, прикреплённый к заячьему хвостику или просто к шнурке. Щёчкой ноги этот своеобразный волан подбрасывается вверх. Смысл игры – кто больше сделает ударов, не дав упасть жёстке на пол. Но учительница почему-то отбирала у нас жёстки.

Кроме пёрышек и жёстки в сумке у хорошего первоклассника вместе с букварём, арифметикой, пеналом, счётными палочками и тетрадями находилось ещё много всяких штучек, барахла, по мнению родителей и учительницы, однако же вещей весьма нужных и ценных на наш взгляд. Чего тут только не было! Обрывок киноплёнки, милицейский свисток, моток медной проволоки, обёртки от конфет, противогазная резина, прожигательное стекло, латунная пуговица, кокарда, значок «Готов к труду и обороне», перочинный нож, цветное стёклышко, витая цепочка-змейка... Перечислять можно долго. Настоящая, «боевая» рогатка, пугач – за такие штучки, конечно, ни родители, ни учительница похвальных слов не говорили, а от родителей можно было схлопотать хорошую затрещину.

Нередко мы обменивались друг с другом этими сокровищами, и они, как и пёрышки, переходили от одного хозяина к другому.

Как-то мне неожиданно подвалила удача – дома в подполье я обнаружил очевидно забытый кем-то и

лежавший совершенно без пользы замечательный нож – нет, не перочинный, складной, а большой, вроде как охотничий с костяной чёрной ручкой, на толстом лезвии проточена канавка, и медные усики отделяют лезвие от рукоятки. Вот это вещь! Вот это находка!

Конечно, я тут же прибрал нож к рукам, положил на дно сумки, присовокупив к коллекции прочих «драгоценностей», чтобы при случае побахвалиться перед пацанами такой замечательной вещью. Ну, положил и положил. Лежит себе и ладно. Почти что и забыл о нём до поры до времени.

А денёчки-то, денёчки школьные ходом идут, сами колесом катятся. Мало помалу, потихоньку полегоньку учатся сопливые мальчики и курносые девочки правильно, с выражением читать, красиво писать, толково считать. Каждый день, пусть по маленькому, пусть по воробыному шажочку, но вперёд да вперёд.

Вот только ребятки, что сидят на задних партах, им больше по нраву не с выражением читать, а с выражениями говорить. Не хотят они слушать учительницу, не желают засорять свои головушки всякой такой дрянью да мусором. Да. Не хотят и всё тут!

Колёк Андронов вырвал из серёдки тетради листок, смастерил галку. Ого! До самого училкина стола долетела галка! Ещё один листок вырвал – сделал хлопушку. Ого! Как жажнула хлопушка!

Валера Батунов оторвал от промокашки хороший кусок, пожевал во рту. Прижал эту жвачку большим пальцем к ногтю указательного – боть! и розовая жвачка прилипла к потолку. Ещё нажевал – боть! и клякса прилипла к стене. Вот отличница Люся Сидорова

строго, негодуя, оглянулась на него. Боть! И жвачка угодила Люсе прямо в глаз. Не зырь. Чего зыришь?

Вова Шутов из тоненькой резинки сделал мини-рогатку, одна петелька надевается на большой палец, другая на указательный. Накрутил из тетрадного листа твёрдых, тугих пулек. Прицелился, октябрёнку Вовочке Кукушкину в затылок – боть! Кукушкин чешет затылок, морщит лоб. Оглянулся – снайпер Шутов сидит себе как ни в чём не бывало.

Опять прицеливается меткий ворошиловский стрелок, и теперь уже октябрёнок Боря Кирюхин чешет в затылке.

А вот и меня будто пчёлка ужалила в макушку. Ах ты, сука! Вскакиваю с парты, в один миг к Вове, и – в глаз, в нос, в зубы! И вот уже учительница никак не может растащить смертельной хваткой сцепившихся петушков!..

Уроки кончились, и мы с Мишкой Ратмановым, моим подшефным и теперь вроде как бы другом, вместе идём домой. Санька Бакловский с Витенькой Куделиным отправились на Базар пошукать жирных бычков, у Саньки с самого утра и единой затяжки не было, аж уши повяли.

Идём мы с Мишкой, а впереди шагов за двадцать стоят, ждут нас Колёк Андронов, Вова Шутов, Киселёв, Аверин. По двое на одного получается. Не сдобровать нам с Мишкой. Да на него и надежды никакой - увалень, варега. Вот Санька Бакловский – это да, он драться умеет, не мельтешит, не суетится, как Витенька Куделин. У Саньни руки длинные, и врежет так уж врежет. Но нет сейчас с нами Саньки! Мишка предлагает –бежим! Куда?!! Не ссы! И тут будто молния прострелила мысль, осенило – ножь! Ведь в сумке

лежит нож! Я быстренько нашариваю его, вынимаю и спокойно, ничуть не прибавляя шагу, направляюсь к ребятам.

— Ну?! Иди! Кто первый? Ты что ли, Колёк?

Колёк длинной струйкой сплюнул на дорогу:

— Ладно-с! В другой раз попадёшься!

И ребятки потрусили, посеменили восвояси.

А сзади нас шли и всё видели девочки-октябрыта Миля Петухова, Аля Матвеева. На другой же день Миля, как и подобает краснозвёздному октябрёнку, всё рассказала учительнице. И та, ни слова не говоря, забрала мой портфель и заперла его в пионерской комнате: «Сходи-ка, Валя, за мамой!»

Мама в школу идёт, ругается:

— Вот ещё один школьник! Ещё один еретик непутной! Я думала хоть ты маненько поумнее, а и ты эдакой же шалопай, видать!

А мне чего остаётся – молчу только, голову повесил, по дороге камушки разглядываю. Против моего ожидания учительница не стала меня распекать, а наоборот принялась хвалить:

— Учится Валя хорошо. Даже очень хорошо. И поведение у него в общем хорошее. Иногда только бывают срывы, стычки с другими. Так ведь, может, его вины в этом и нет. Трудные, очень трудные есть в классе...

— А вот это, – учительница подала маме завёрнутый в тряпку нож, – это вы уберите так, чтобы никто, вы понимаете меня? Чтобы никто уже больше не нашёл. Закопайте где-нибудь. Ведь это финский нож, холодное оружие. За это могут привлечь...

Дома брат Шурка дал мне хорошую затрещину:

— И где ты, гадёныш, только его нашёл?!...

А потом действительно закопал нож где-то на огороде.

Случай этот не повлёк за собою никаких неприятных последствий и осложнений, однако же не был забыт ни мной, ни ребятами из андроновской команды. Ребятки теперь стали обходить меня стороной. Чего с психом связываться?

Ходом идут, колесом катятся школьные денёчки. Вот уже и крышу старенькой школы будто пуховым одеялом укрыло свежим снежком. Ещё недавно вроде на ступеньках школьного крылечка светились прилипшие к ним лимонно-жёлтые сердечки берёзовых листьев, а теперь и на них, и на перилах лежит, красуется белый пушистый снежок. Каждый день его всё прибывает да прибывает. Большие пушистые хлопья тихо, но обильно летят сверху из низкой сизой тучки.

В переменку выбегут ребята из школы раздетые, без шапок и ну давай лепить из снега комья. Кому в лоб залепят, кому в ухо. Хуже всего, если в глаз. А то за шиворот снегу напихают, или свалят в сугроб и в рот, и в нос снегу напихают.

Вова Шутов слепил увесистый ком, выбирает цель. Смотрит на меня, но и я на него смотрю. Ухмыльнулся Вова, чего-то вспомнил и залепил другому, вроде Боре Кирюхину, а может Кольке Бибину. Так-то , паренёк!

* * *

Дни в декабре короткие, хмурые, пасмурные. Солнышко просыпается поздно, да и то еле-то еле выглянет сонным глазом из-под серого одеяла низких туч. Вот и школярам первоклашкам в такую пору страсть как не охота вставать спозаранок, и,

досматривая сладкий сон, напяливать кое-как пальтушки, шапчёлки да разбитые вдрызг валенки. В избе тепло, а на улице темень да холодрыга. Бр-р-р! А что делать? Надо!

Надо, да не всем. Санька Бакловский, Витенька Куделин то и дело просыпают и опаздывают к началу уроков. Да и не только они. И Шутов опаздывает, и Аверин. Они оправдываются, дескать, не умеем, не знаем, как по часам время определять. Конечно, это не оправдание и не причин, а только одни отговорки. Ведь у ребяток есть родители, чтобы разбудить и собрать в школу по времени. Значит сами потакают нерадивым чадушкам.

Тем не менее учительница решила научить нас этой премудрости – по положению стрелки определять время. Она дала нам домашнее задание – изготовить к следующему дню циферблат со стрелками. Изю всего класса человек, может быть, пять только справились с заданием.

У меня часы получились очень даже хорошие. На картонку от обувной коробки я положил тарелку и обчертил её карандашом. Аккуратно выстриг кружок. На этот кружок положил блюдце поменьше и тоже обчертил. Вверху окружности написал цифру 12, внизу – 6. Справа цифру 3, слева – 9. Потом между ними написал все положенные цифры. От цифры до цифры по окружности сделал по пять чёрточек. А если полный круг, то получается шестьдесят чёрточек.

Стрелки выстриг из кусочков твёрдой кожи – большую и маленькую. Гвоздиком проткнул и прикрепил в самый центр циферблата. Вот теперь хорошо – стрелки двигаются как им и положено. Пока маленькая стрелка двигается от одной цифры до другой,

большая за это время целый круг обернёт, шестьдесят делений пройдёт. Или шестьдесят минут. А это и есть час. Дома старшие сёстры и братья давно мне эту мудрёную науку втолковали, но сейчас я сам сделал, пусть и не всамделишные, а всё-таки – часы! Часы, которые отсчитывают уходящее неизвестно куда время.

Идут, крутятся стрелки. Маленькая не шибко торопится, большая то и дело её обгоняет. Вместе со стрелками идёт время, и не на минутку даже не остановится, не передохнёт. И вот уж целый год этого времени прошёл. Новый год недалеко совсем.

Учительница сказала, что в Новый год у нас будет праздник с ёлкой. Ещё она сказала, что к празднику надо разучить хорошие, весёлые песенки. Санька Бакловский, Вовка Шутов, Юрка Аверин ни в какую не хотят петь, сидят будто воды в рот набрали. А то дак даже подсмеиваются над теми, кто поёт, корчат рожи. Я тоже спервоначала стеснялся петь вслух, что я – девчонка что ли? Но мысленно, про себя повторяю всё-таки слова. А потом как-то незаметно, само собой и вслух прорезалось:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелёная была...

Когда до нового года оставалось дня три, тётя Маша сходила с лёгкими, деревянными саночками в лес и привезла оттуда небольшую пушистую ёлочку. Сообща укрепили её в крестовину, она целый год дожидалась своего часа в пионерской комнате за шкафчиком, из

шкафчика достали ящик с немудрящими игрушками и сообща принялись ёлку наряжать.

Клеили цепочки и гирлянды, выстригали из белой бумаги снежинки, из цветной – всякие звёздочки. Кто-то из бумаги сделал гармошку, кто-то корзиночку – всё пойдёт.

Маленькие кусочки ваты набросали на ветки – снежок! На верхушку ёлки укрепили пятиконечную звезду. Вот теперь замечательно!

Я нет-нет да поглядывал исподтишка на глазастую Алё Матвееву, на шуструю Элю Балдину – какие они всё-таки аккуратные, чистенькие девочки, и как аккуратно, хорошо всё у них получается. А ёлка оттаяла и стала источать восхитительный волнующий запах!

Наконец настал срок и для самого праздника. Девчонки пришли все разнаряженные, в белых фартуках и с большими бантами в косах. Да и на мальчишек ради такого случая мамы одели беленькие или уж, во всяком случае, чистенькие рубашки. На праздник к нам пришёл и мужичок с гармошкой, откуда он взялся – нам тогда было как-то всё равно.

И вот мы все – девочки и мальчики – взялись за руки и пошли хороводом вокруг ёлки.

Бусы повесили,
Встали в хоровод.
Весело, весело
Встретим Новый год!

Но нет, не все всё-таки встали в хоровод, Санька Бакловский, Вовка Шутов, Юрка Аверин ни в какую не захотели ходить вокруг ёлки вместе с девчонками. Упрямые, как бычки, стоят у стенки, с места не

сдвинуть. С девчонками знаться у пареньков нашего времени считалось делом зазорным, а если кого уличат в таком грехе, то и на тебе прозвище – бабник! Позорное прозвище!

Вот девчонки-отличницы рассказали специально разученные к этому дню стихи.

Вот вышли Мишка Ратманов с Борей Кирюхиным, они оба до школы ходили в детский сад и там ещё разучили матросский танец «Яблочко». Приложив кулачки к глазам, они будто бы в бинокль разглядывали стоящих вокруг ёлки ребят.

Откуда ни возьмись появился Новый Год – щёки пунцовые, будто свёклой натёрты, а глаза так и брызжут искрами задорного веселья. Ура! К нам Новый год пришёл! Это Милю Петухову вырядили мальчиком, ни спине пришили бумагу с цифрами «1950», а спереди надпись «Новый Год».

Вокруг ёлки прыгали и бегали Зайчик, Лисичка, Серый Волк в масках из папье-маше.

Наконец появился и Дед Мороз, сразу уж все узнали – это Тётя Маша, наша техничка, надела шубник, шапку-ушанку, бороду приклеила из льняной кудели, в руках длинная палка.

— Давайте-ка, ребятки, позовём Снегурочку! Снегурочка, ау-у-у!

И вот из пионерской комнаты выходит Снегурочка, ясное дело, что Люся Сидорова. И опять хоровод кружится то в одну сторону, то в другую.

Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла!

Наконец, наступает кульминация праздника – Дед Мороз появляется с мешком за плечами.

— Эге, ребяташки! А я ведь вам гостинцев принёс!

Никого не забыл оделить Дед Мороз, даже Саньку Бакловского с Вовкой Шутовым и Юркой Авериным, даром что те так и простояли весь вечер у стенки.

И каждый из ребят с вожделением заглядывает во вручённый ему кулёк. О, как чудесно пахнут мятные глазурованные пряники, конфетки в нарядных обёртках, разноцветные шарики-драже, блестящие леденцы!

Очень даже весело встретили Новый Год!

Две недели школьных каникул пролетели, как один год. И вот – снова в школу. Силы нет как не хочется ни свет, ни заря вылезать из-под тёпленького одеяла, из нагретой за ночь норушки. А что делать? Надо!

Послевоенные зимы были очень морозными. Идём по утрачку в школу, а ресницы сами собою слипаются от густого инея. Морозко за нос, за щёки щиплет, забирается под ветхую пальтушку. Солнце ещё не встало, а уже полнеба алою зарёй залито, на алой сукровице мелкие лёгкие облачка, будто перья разбросаны. И над каждой избой из печных труб поднимаются вверх кошачьими хвостами белые столбы дыма. Холодно, вот хозяйки спозаранок и затопили печи.

В школу придём – и там холодно. Как ни старалась тётя Маша, а так и не смогла натопить класс сырыми дровами. Дрова не горят, а только пыхтят, шипят да пенятся. Пена пузырится на торцах поленьев, гасит занявшийся огонёк растопки.

Сидим за партами в пальтушках, чернила в чернильницах замёрзли, писать нельзя. И вот приходит

из РОНО директор начальных школ Рогачёв и объявляет, что уроки на сегодняшний день отменяются. С опечаленными лицами дожидаемся, пока Рогачёв уйдёт, чтобы такое же объявление сделать в следующей школе, а потом с дикими воплями радости срываемся, идём прыгать в сугроб со школьного сарая-дровяника. Потом идём домой, надеваем лыжи и целый-то день катаемся с гор. Этого отменить ни мороз, ни Рогачёв – никто не мог.

Весь январь держатся строгие холода, но откуда нам знать, идти утром в школу или нет – ведь градусников дома ни у кого нет. Да если бы и были, всё равно самовольно не пойти в школу нельзя. Вот когда из области позвонят в РОНО, когда Рогачёв придёт и отменит занятия, тогда да, тогда всё по закону.

В то утро тоже вроде бы выдался крепкий морозец со злым ветерком, и мы по дороге в школу очень даже надеялись, что сегодня уроков опять не будет. Но Рогачёв не пришёл и занятий не отменил. Значит, всё-таки недостаточно морозным было утро. Значит не поступило команды сверху...

И вышло всё как раз наоборот – учительница перед первым уроком объявила, что сегодня к нам придёт с проверкой инспектор из области. Инспектор! Мы и слова-то такого отродясь не слыхивали, но по взволнованному голосу и по всему внешнему виду Евдокии Фёдоровны поняли, что к нам прилетит важная птица.

В классе как обычно ветерок гуляет, белый пар изо рта от дыхания валит, и учительница, чтобы не простудились, разрешила нам сесть за парты в пальтушках. Волнение от Евдокии Фёдоровны передалось, видимо, и нам – сидим, зубами стучим. Но

вот ко второму уроку пришла-таки неведомая и с таким страхом ожидаемая начальница. Смотрим – да вроде бы она вовсе и не страшная, напротив – приветливо, ласково всем улыбается. Ну, прямо так вот вся и светится – сама доброта! Однако же сразу видать – цену себе знает. Движения все степенные, важные. Крупная женщина, полная. В общем – начальница.

— А что же это у вас ребятки одетыми сидят?

— На улице холодно, школа старенькая. А дрова сырые, не горят совсем. Привезли в сентябре и, видимо, прямо с делянки. Трудно такими дровами натопить...

Начальница тут же что-то пометила себе карандашиком в блокнотик.

Начался урок. Евдокия Фёдоровна вызывает меня к доске, просит прочитать по книжке отрывок из сказки «Морозко». Читаю, на начальницу поглядываю, а у той тёмные дуги бровей от удивления полезли на лоб. Ещё бы! Я читал без единой запинки, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. Да! Может быть, ещё и самой начальнице так-то не прочитать! И опять она что-то чиркнула в блокнот.

Вышла Люся Сидорова рассказать заданное на дом стихотворение. И она не ударила лицом в грязь. Щёки покраснелись, из глаз золотые искры во все стороны сыплются, а стихи так прямо от зубов и отскакивают.

На перемене начальница накинула всё-таки каракулевую шубу сверху на плечи да ещё и пуховым платком накрылась. Видно и ей стало свежо. Тётя Маша перехватила её в коридоре.

— Сырущи дрова-те, матушка! Я уж стараюсь, стараюсь, да никак, сила не берёт. Дрова-то сыры да и трубы-то не знамо скоко лет не чищены, тяги-то нету

никакой. Одне головни, один угар при эдако-ту топке. Рази это дело?

— Конечно, не дело.

Второй урок – арифметика. Начальница не дурочка, видит, что Евдокия Фёдоровна лучших учеников вызывает к доске. И вот она кивает головой на вертлявого пучеглазого егозу, на Лёньку Лазарева. Уж хоть бы сегодня потерпел, так нет – никак ему спокойно не сидится там, на «Камчатке», за последней партой.

— Пригласите-ка к доске вот этого мальчика.

Однако и тут оплошки не вышло, у Лёньки насчёт сложения-вычитания котелок варит хорошо. Бойко всё ответил.

В общем, как нам показалось, начальница ушла довольная всем увиденным и услышанным.

Всем-то всем, да видать не всем. На другой день в школу заявился Рогачёв, мы обрадовались – пришёл уроки отменять! Но не тут-то было. Он, злобно кривя щель рта, щеря жёлтые щербатые зубы, прямо при нас принялся отчитывать за что-то Евдокию Фёдоровну. За что? Ведь мы старались, и все отвечали хорошо.

Маленький, чуть не вдвое меньше нашей учительницы, лысый, тщедушный карлик, а она стоит перед ним, будто школьница, и алые пятна полыхают на бледных щеках. И что она ему не плюнет в рожу? Ну, хотя бы ответила, как следует, хотя бы постояла за себя!..

Все учащиеся начальных классов не то, что не любили, а просто-таки ненавидели Рогачёва, этого ядовитого старикашку со старорежимными привычками и выходками. Мороз не мороз, а если он попался по дороге в школу, надо было с ним не только поздороваться, а ещё, видите ли, и шапку снять с

головы. Ребята постарше рассказывали, что кто-то раз не снял перед ним шапку, а Рогачёв – глаз цепкий – его запомнил, пришёл в класс, будто клещами вцепился в ухо – что шапку не снимаешь, подлец? – и чуть ухо не оторвал.

Как маленький царёк, он пользовался безнаказанностью. Однако после визита начальницы, видимо и ему не поздоровилось. Не зря же она писала себе в блокнотик про то, про сё. Тогда каждый держался за своё место, а у него место было тёпленькое. Да кроме того по тем временам такую вот, с позволения сказать, «заботу» о малолетках-школьниках могли расценить не как халатность, а как вредительство. Суровые были времена.

Как бы там ни было, а ещё через день в школу привезли на лошадке целый воз сухих берёзовых, уже напиленных и наколотых дровец. Пришёл и человек, чтобы прочистить дымоход. Снял с крючьев лестницу, что висела под навесом дровяного сарая, залез на крышу и вычистил трубу. Вот только лестницу на место повесить то ли не успел, то ли позабыл.

Когда Вову Шутова за очередную хулиганскую выходку учительница совместно с тётей Машей выдворили из класса, он забрался по этой лестнице на крышу и сиганул оттуда в сугроб да именно с той стороны, на которую глядели классные окна, чтобы все видели каков он смельчак герой-парашютист. Только лучше бы не прыгал, теперь к нему прилипло новое прозвище – Шутов-парашютов, или Шут-парашют, а для краткости – просто Парашют.

В школе же после того, как привезли сухих дровишек, сразу стало тепло и уютно. И тётя Маша не могла нарадоваться:

— Вот, совсем другое дело!..

Теперь и самые активные прогульщики сидят себе как миленькие в классе. На улице холодрыга, день пошманился, два пошманился — надоедает. А дома родители лаются, в школу в шею гонят. Сидят на задних партах мальчиши-плохиши, хоть и озоруют потихоньку, но всё же и слушают хоть что-то. А раз слушают, то и запоминают. Ведь все они — Санька Бакловский, Витенька Куделин, Вова Шутов — в общем-то пареньки вовсе не глупые, просто почему-то лень им учиться. Вот Мишка Ратманов — тот да, тот от рождения туповат, до него всё, как до жирафа, доходит. Но и он пыхтит, а карабкается потихоньку, грызёт мало-по-малу гранит науки. Ну, ещё Валера Батунов, тот совсем уж безнадёга.

А так — многие из пареньков в хорошисты вылезли. Девчонки — о девчонках и говорить нечего, все старательные. Может, изо всех две или три послабее.

Читать, писать — кто чуть получше, кто чуть похуже — все мы научились. А вот правильно говорить — эге! — это оказалось гораздо труднее. У большинства из нас родители были малообразованными или же совсем необразованными, соответственной была и речь. От всех этих «куды-сюды», «ковда-товда», «даве-ноне» избавиться было ох, как трудно! В плоть и кровь въелось — «гулят, играт» вместо «гуляет, играет». Да что там — «гулят,играт» - почти что все ребятки к семи годам искусно владели, как сейчас принято говорить, ненормативной лексикой. При учительнице, конечно уж, не выражались, но по дороге домой после школы частенько с щегольством изрекались всякие такие заковыристые присказки и словечки. Такова была жизнь, таково было время.

Время-времечко! Не стоит оно, понимаешь, даже и минуты на месте! Вот уж и весной в воздухе запахло, вот и шумливые грачики прилетели, расселись по чёрным лохматым гнёздам на старых берёзах возле школы. Навзрыд заплакала светлыми слезами наша школьная крыша, и хрустальные сосульки сами отваливаются в снег. Сладкие сосульки, до того ли вкусные, так и похрустывают на молодых крепких зубках! А тут и ручьи засверкали на дорогах, а тут и распутица настала. В чём, в какой обуви в школу идти? Но на то и бывают весенние каникулы. Дома – это дома, придут с гулянки ребятки хоть даже по уши мокрые, провалишься где-нибудь, вода аж чирчит на пол, да на горячей, как огонь, лежанке печки всё мигом высохнет. Хороши осенние каникулы, жаль коротки больно...

Недели через две после каникул на уроках пения мы принялись разучивать новую песню.

Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.

Учительница сказала, что с этой песней мы пойдём на праздник Первомая, на демонстрацию.

А что это за демонстрация? А это когда все и взрослые, и дети идут колоннами на площадь к памятнику Сталину. Ну, мы такое видели – музыканты в медные трубы играют, а люди флаги несут и портреты Ленина, Сталина. Да, да. Теперь и мы пойдём.

Евдокия Фёдоровна дала всем различные задания, кому-то поставить в бутылку или в банку с водой вишнёвые веточки, чтобы у них распустились листочки.

Кто-то с помощью старших должен был выпилить звёздочку и выкрасить её в красный цвет, кто-то сделать флажок. Мне и ещё нескольким ребятам и девочкам досталось самое простое – выпилить из фанерки что-то вроде квадрата, только сплющенного, зачем - не знаю...

Перед праздником мы собрались в пионерской комнате. Девочки делали из белой бумаги мелкие цветочки и тонкой медной проволочкой прикручивали их к распутившимся с зелёной листвою веточкам. Ребята к выструганным палочкам приколачивали длинные ленты из цветной бумаги, получались красивые султаны. А нам, кому было велено сделать квадратики, предстояло оклеить их с обеих сторон белой бумагой, а в середине приклеить одним красную цифру «5», другим «4». Квадратики эти прикреплялись к аккуратно выстроганным палочкам. Цифра «5» означала – круглый отличник, «4» - хорошист.

Праздник Первомай не заставил долго себя ждать. Свежее, солнечное утро. И всё, как в песне:

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильнее...

Мальчики и девочки - все нарядные, весёлые. Только мне что-то не больно весело – иди в колонне вот с этой дурацкой цифрой «5». Один из всех мальчишек круглый отличник. И зачем это надо выделяться изо всех? Вроде как хвастовство, бахвальство какое-то получается. Разве из-за этого старался я на уроках? Просто хотелось учиться, вот и всё. Нехорошо как-то.

Круглый отличник, а я себя чувствую как круглый дурак. И завидую тем, кто идёт с султанами, со звёздочкам, с флажками, с цветущими веточками...

Пришли к памятнику Сталину, вместе с другими школьниками встали своей колонной. Чуть не час с высокой деревянной трибуны дяденьки и тётеньки громко говорили и говорили, непонятно только чего. И та пионерка, что считалась нашей октябрятской вожатой, тоже была там, наверху. Но когда непонятно говорят, скучно стоять. Уж тут вот действительно стоишь, как круглый дурак. Наконец всё это кончилось, и нас учительница отпустила по домам. Свою цифру «5» забросил, засунул я за первую попавшуюся поленицу. О, как сразу стало легко и хорошо! Да здравствует Первое Мая!

И сразу же с первых майских дней блаженная теплынь и отрада волна за волной покатались по земле. Проглянула травка, старые берёзы похорошели, сделались прозрачным зелёным туманом. Девчонки на переменках играют в «классы», швыряя ногой поскакушку. Мальчишки опять наладились играть в стенку, в денежку. Санька Бакловский опять стал смываться с уроков на базар на поиски жирных бычков.

Как-то раз в удивительно тёплый ласковый день с уроков сбежало человек пять нерадивых учеников, чтобы за сараем пожарного депо поиграть в ножички. И я что-то не утерпел, увязался за ними. На другой день Евдокия Фёдоровна смотрела на меня таким печальным, укоризненным взглядом, что мне стало как-то не по себе. Нет, не буду больше огорчать учительницу. Хотя и скучновато на уроках, потому что идёт повторение и закрепление пройденного и усвоенного в течении года, но я сижу, нет-нет да поглядываю то на Алё Матвееву,

то на Элю Балдину. У Али Матвеевой большие выразительные глаза, у Эли Балдиной – тонкие точёные черты лица. Обе отличницы. Кому отдать предпочтение – не знаю. Обе хороши. Жаль, что с девчонками дружить считается зазорным. С ребятами тихонями мне и самому не хочется дружить. Вон Вова Кукушкин – терпит все обиды, никому сдачи не сдаст, ни разу ни с кем не подрался. Ну, что это за пацан? Мишка Ратманов – увалень и глуповат. Санька Бакловский, Витенька Куделин – лентяи, не хотят учиться. Шмоняться по базару, собирать бычки вместе с ними? Нет уж. Всё больше и больше я становился как бы сам по себе, не зная куда, к кому прилепиться душой. Мне нравилось учиться, вот и всё.

А ещё мне нравилось рисовать. Однажды на уроке рисования я изобразил на листке берег Волги, на берегу лежит бревно, перевёрнутая вверх дном лодка, большой камень. А подальше, на реке, лодка плывёт, а в ней сидят ребята.

Учительницу мой рисунок привёл в восхищение, и она показывала его всему классу.

В этот день после уроков Колька Андронов позвал меня к себе домой. Чего я там не видал?

— Пойдём, Андрюшка тебе кой-чего покажет.

Андрюшка – это старший брат Коляна, ему уж лет шестнадцать, а может, больше. Я подумал – не подвох ли тут какой. Чего может показать Андрюшка, покажет где раки зимуют, пендаля хорошего отвесит, Колян коварный паренёк, от него, как он, чего хочешь можно ожидать.

— Не, не пойду. Домой надо.

— Да ладно. Не бойсь, пойдём.

Вот ещё, я и не боюсь нисколько. Давай пойдём тогда.

Пришли к Андрюшке, великовозрастный оболтус, в школу уже не ходил, но и не работал нигде, сидел на шее у матери. Болтался с такими же, как он, ухарями. Вот от них и нахватался Колёк спеси.

Посидели немножко, вроде скучно и неловко как-то. И тут Колёк попросил:

- -Андрюш, покажи..

И Андрюша достал откуда-то альбом, а в альбоме рисунки разные. Некоторые помнятся и до сих пор – какой-то русский полководец, то ли Дмитрий Донской, толи Пожарский, в шлеме, в доспехах. Какой-то военоначальник на белом коне, может, Чапаев, может, Будённый. Нарисовано простым карандашом, но очень старательно и тщательно. Конечно же, срисовано откуда-то. Но тогда на меня рисунки произвели впечатление. Рисование, видимо, было тайною страстью Андрюшки.

— Сможешь так?

— Не – е – е... Не смогу.

— Вот учись, пока я жив!,

На этом, можно казать, визит и закончился. Кольке хотелось просто-напросто утереть мне нос. Вот-де, и получше тебя люди могут рисовать. А может, вовсе и не так. Не знаю.

Но рисунки запали, запали мне в голову. Подспудно, в каком-то уголке подсознания появилась некая сила, тяга к этому занятию. Я тоже стал перерисовывать из своих и Витюхиных учебников понравившиеся картинки в школьную тетрадь для рисования. На первых порах не важнецки получалось, да лиха беда начало !

В самом конце учебного года учительница взяла одну из моих тетрадей по письму на какую-то выставку. И ещё попросила сфотографироваться на Доску почёта. Фотография каким-то чудом уцелела, и с неё смотрит, поджав губки, какой-то совершенно незнакомый мне пай- мальчик...

Он сидел в первом ряду, кажется, на третьей парте, у самого окна. Что у окна, это я точно помню, потому что на уроках ему довольно часто делали замечание, чтобы он слушал учителя, а не считал в небе ворон.

Фамилия его была Дундук. В то время нам, его одноклассникам, эта необычная фамилия казалась просто странной, смешной. И только много позже узнал я, что «дундук» означает бестолковый человек, болван, остолоп. Однако Стасик Дундук вовсе не был бестолковым остолопом. Учился он ровно и ходил в твёрдых «хорошистах».

В нашем классе он появился после того, как по окончании начальной школы, нас перевели в трёхэтажное каменное здание единственной в то время средней школы. Тогда в классе появилось много новичков, в их числе был и Стасик Дундук.

Однако не только фамилия его была необычной, но и сам Стасик очень заметно выделялся среди других учеников и внешностью своей и поведением. Это был мальчик с картинки, весь чистенький, аккуратный, воспитанный. Красиво сшитая курточка, коричневая в крупную клетку, с накладными карманами по бокам и на груди. Брючки всегда тщательно отглажены, и ботиночки с галошами. Конечно, никто из мальчишек так одет не был.

Кроме того, у Стасика был замечательный заплечный ранец – с ремнями, блестящий, новенький. Такого тоже не было ни у кого. У девчонок – портфели, у ребят – потрёпанные дерматиновые полевые сумки с ремнём через плечо.

Но и это ещё не всё. Стасик был на удивление красив. Матово-смуглое лицо, большие выразительные светло-голубые глаза с чётко обозначенными зрачками. А ресницы? Такие ресницы – длинные, загнутые вверх бывают только ещё у кукол с закрывающимися глазками. А соболиные брови, а чёлочка, как будто специально завитая изящною волной?

И всё-таки главной достопримечательностью его облика были губы – алые, полные, не иначе как клюквенным соком налитые. Нижняя губа часто под тяжестью собственного веса самопроизвольно опускалась вниз, и тогда обнажались его крупные, белые и будто бы синькой подсинённые зубы.

Так вот, как я уже сказал, Стасик во время уроков очень любил смотреть в окно, и глаза его в это время были отуманены тихой, совершенно непонятно по какой причине всплывавшей со дна души печалью. Нетрудно догадаться о том, что нижняя губа его в такие минуты сама собой отвисала вниз. Стасику делали замечание, и он, сделав брови домиком и прикрыв рот, с трудом переходил из мира грёз в мир реальный. Напрягал внимание, слушал. Но вот проходила минута, другая, и взгляд его будто магнитом вновь притягивали небо, облака. Кого-нибудь другого уж давно бы отсадили от окна, но его не трогали.

Кончался урок, и почти все, кто находился в классе, срывались со своих мест и будто табун диких мустангов устремлялись к выходу, там, в проёме двери, толкались и шпыняли друг друга, вываливались в коридор и с воплями и визгом мчались на улицу. В классе оставались Стасик Дундук да три-четыре до полусмерти влюблённых в него девчонки. Стасик изо всех сил старался их рассмешить, корчил рожи, обезьянничал.

Но вот после звонка красные и потные от беготни и возни ребятки расселись по местам, начинался ещё один очередной урок, и Стасик снова с затаённой грустью смотрит в окно.

Однажды к нам на урок математики пришла вся важная из себя тётенька из РОНО, дабы оценить уровень усвоения предмета учащимися. Учительнице математики Капитолине Павловне ребятки придумали имечко – Капелька. Это было совсем не обидное прозвище и, надо признать, меткое и удачное, потому как Капитолина Павловна, небольшого росточка, кругленькая, всегда светила изнутри каким-то добрым, чистым светом – точь-в-точь капелька на кончике сосульки при ярком весеннем солнышке.

Тётеньке из РОНО интересно было узнать, как ребятки умеют решать уравнения с двумя неизвестными. Капитолина Павловна вызвала к доске Стасика, ведь он числился в «хорошистах». Стасик долго напрягался, делал брови домиком, надувал щёки, но с заданием не справился. Учительница нацелила ясный лучистый взгляд на меня. «Давай. Да уж не подведи», – говорил этот взгляд. Уравнение было совсем несложным, и я быстренько сделал всё как надо. Тётенька из РОНО подсыпала ещё какой-то дополнительный вопрос. И тут я с ужасом заметил, как из дыры моего валенка, подшитого, но опять прохудившегося вылез кончик чулка. Совсем некстати, совсем не вовремя вылез. Тут надо сказать, пояснить, что зимой я с давних пор приспособился вместо носков – где их взять, носки? – навивать на ноги старые мамины чулки, уже не поддававшиеся ремонту и штопке. Натянешь чулок чуть повыше щиколотки,

оставшуюся часть обовьёшь вокруг ступни наподобие портянки и – порядок, можно совать ногу в валенок.

После того, как я заметил этот предательски выбравшийся на волю из недр валенок чулок, от охватившего меня стыда я готов был провалиться сквозь землю. А надо было отвечать на вопрос этой толстой, важной тётеньки. Отвечаю, а язык во рту шевелится с трудом, сделался то ли суконным, то ли ватным. После Капитолина Павловна долго пеняла мне: «Ну, что же ты? Что с тобой случилось? Ведь всё правильно отвечал, а уж мямлил так, как будто каши в рот набрал...»

У Стасика в классе не было не только друзей, но и просто товарищей. Все почему-то сторонились его. Ведь большинство ребят было из семей с достатком ниже среднего. К их числу относился и я. От большинства я отличался одним тем только, что учился лучше других. Вот это обстоятельство и послужило, как я думаю, поводом к тому, что однажды после уроков Стасик стал зазывать меня к себе домой, как он говорил, в гости. Но мне идти страшно не хотелось, и я долго всячески отнекивался, придумывал разные причины. Я понимал, конечно, что Стасик совсем другого поля ягода, и какое-то чувство отторжения интуитивно срабатывало внутри. И всё-таки, хоть и с большой неохотой, я уступил настойчивым уговорам.

Я не знаю, чья была инициатива пригласить меня в гости – то ли самого Стасика, то ли его родителей. Они, конечно же, знали о том, что вместе с их сыном учился некий паренёк, зело усердный к учёбе. Может быть, им хотелось, чтобы Стасик подружился с этим пареньком. Не знаю.

По дороге Стасик без умолку всё что-то говорил, говорил, стараясь рассказать что-то весёлое, смешное или умное, а я никак не мог поддержать разговор. Дома нас с ласковой улыбкой встретила мать Стасика, лицо её светилось неподдельным радушием. Она, видимо, отлучилась с работы специально для того, чтобы накормить нас обедом.

«Раздевайтесь, проходите». А это уже мне: «А что же ты валенки не снимаешь? У нас тепло. Стасик, подай-ка тапочки». И это был первый удар по моему самолюбию. Дыры в валенках хоть и были кое-как залатаны, но снимать их прилюдно не хотелось из-за того, что на ноги опять были намотаны злополучные мамины чулки. Ну, ладно, как-то всё-таки удалось освободить ноги от валенок, не показывая чулок.

Прохожу в комнаты. Ого! Их целых три, и все такие большие. А сколько света попадает в них через высокие, широкие окна, прикрытые полупрозрачными занавесями. И воздуха много, и воздух лёгкий.

Мать Стасика усаживает нас за стол, накрытый белой в крупную синюю клетку скатертью. И тут же в середину стола ставит большую продолговатую посудину с ручками по бокам. А посудина дымится паром и благоухает такими аппетитными запахами, что у меня невольно начинается обильное слюноотделение. Вот сейчас и будет из этой посуды по очереди хлебать. Но нет, не тут-то было. Перед нами уже стоят белые с цветочками по краям тарелки, а с боку положены металлические, поблёскивающие бликами света ложки.

Таким же ярко поблёскивающим половником нам что-то наливают в тарелки, а что — не знаю. И только много позже узнал я, что такая посудина называется

супницей, а в тарелках у нас был самый настоящий украинский борщ. Отец Стасика родом был не иначе как с Украины, потому-то борщ и умели готовить здесь должным образом.

Да, борщ был поистине великолепен. Только вот ложки, хоть и красивые, а мелковаты что-то. И я, опасаясь ненароком капнуть на белоснежную скатерть, подкладывал кусок хлеба под её донце. Но ведь когда держишь в голове какую-нибудь мысль о плохом, это плохое обязательно и случится. И вот, вот оно! Большая фиолетово-красная капля украинского борща падает и живописно украшает белоснежную скатерть. И вслед за этим не менее красная краска обиды и стыда, а также обильный пот заливают мою физиономию.

Ну, что же, поделом, поделом тебе! Будешь знать, как ходить в гости к культурным людям. Ведь я в то время отродясь не видал никаких таких супниц, ни тяжёлых, но мелких металлических ложек. У нас дома ели все из одной большой миски, что стояла посреди стола, и черпали по очереди, по кругу деревянными ложками с обгрызенными краями, но ёмкость ложек была хорошей. Но если даже у кого-то и прольётся немного, никто на это не обращал ни малейшего внимания — стол не только что скатертью, клеёнкой-то редко бывал покрыт.

Видя моё крайнее смущение и даже испуг от случившегося казуса, меня стали успокаивать: «Ничего страшного! Не переживай и не расстраивайся. И со Стасиком такое бывает. Правда, Стасик? Всё отстирается...»

Ничего-то ничего, да ничего хорошего. Кусок в горле застрял, не проглотить. И аппетит сразу пропал...

Но вот передо мной теперь уже на мелкой тарелке лежит не менее, чем борщ, благоухающая ароматным

духом котлета с политой маслицем картошкой-пюре да сбоку ещё и зелёный горошек. Рядом с тарелочкой лежат вилка и нож. Ну, вилка ещё куда ни шло, а нож-то зачем? Сиж, жду. На Стасика гляжу. А Стасик, придерживая котлету вилкой, отрезает от неё ножиком небольшие кусочки и, улыбаясь и подмигивая мне, ловко отправляет их в рот. Да, тут нужна тренировка. У меня та ни за что не получится. И всё же пытаюсь. Куда же деваться-то?

Но вот, наконец, и чай. Чай в стакане с ажурным подстаканником, а к чаю пирожок с повидлом. Чай сладкий, пирожок сладкий. Не слипнется ли кое-где? Но это я, конечно, не вслух, а тихо сам с собою. А горячий чаёк-то. Вот в блюдечко бы перелить, тогда бы в самый раз, а блюдечка нет. Всё как-то не по-нашему. Попросить блюдечко? Нет уж, сиди и жди пока остынет. Стасик ждёт, и ты жди.

Мать одевается, уходит. В дверях бросает Стасику: «Ну, ты тут чем-нибудь займи гостя».

Мы переходим в другую комнату, ещё более светлую, ещё более просторную.

И вот Стасик принимается меня «занимать». В руках у него появляется мандолина, и сладкие дребезжащие звуки полились в окружающее пространство. Затем он играет на гитаре, на баяне, на аккордеоне и даже на балалайке.

Я знал о музыкальных способностях Стасика, он часто с сольными номерами выступал на школьных вечерах. И все ахали и охали: «Вот это да! Вот это талант!» И сейчас он, должно быть, ожидал моих возгласов восхищения: «Вот это да!» Однако я слушал его и про себя говорил: «Ну, играешь и играй. Молодец. А мне этого не надо».

Я знал, что это не моё. У меня не было абсолютно никаких музыкальных наклонностей. Совсем мелким я пытался хоть что-нибудь изобразить на гармонии, на балалайке, но все попытки оказались безуспешными. Слава Богу, вовремя понял, что это не для меня.

Заметив моё полное безразличие к его игре, Стасик попросил: «Ну, вон пойдёшь тогда включи приёмник». Да, но я и приёмника не видывал никогда и, естественно, не знал, как его включать. Дома у нас был лишь радиорепродуктор, и включить его не составляло никакой хитрости – повернул вертушок по часовой стрелке, и вот уже радио заиграло или запело, или заговорило. А тут столько всяких вертушков, кнопок, клавиш – пойдёшь разберись!

Мне всё более и более надоедала эта роль папуаса с Новой Гвинеи, и я всё более и более стал думать о том, как бы поскорее отсюда смыться. Стасик тем временем сам подошёл к радиоле. «Давай поищем музычку!» Стал нажимать кнопки, клавиши, крутить туда-сюда вертушок. Но вместо музычки ящик извергал треск, писк, визг или же нерусскую речь. Стасик тяжело вздохнул: «Да ну её, эту дребедень». В приёмнике что-то щёлкнуло, и всё смолкло.

«Давай лучше побесимся!» Он вскочил на диван и принялся на нём прыгать. «Давай, иди сюда!» «Но мы же сломаем его». «Ничего не ломаем, иди!» Нет, мне и беситься совершенно не хотелось. Тогда Стасик начал строить рожи, какие показывал девчонкам на переменках. Ну, это, брат совсем уж неинтересно. «Я пойду, пожалуй что, домой...»

В прихожей наматываю на ноги мамины чулки. «А это что такое?» Ага! Вот теперь Стасик эдакого никогда не видывал. «Это? Это обмотки. От деда достались. Он

в гражданскую воевал. Чистеньких да гладеньких белогвардейчиков лупешил. Господинчиков всяких». «А-а-а...»

Конечно, никакого такого деда у меня не было. Это уж я как-то на ходу придумал. Само получилось. Уж больно хотелось хоть чем-то да утереть нос, досадить чистенькому, гладенькому Стасику.

На улице собиралась наступить весна, но ещё не наступила. Собирался наступить вечер, но ещё не наступил. А воздух был уже по-весеннему влажный, сладкий. И я, наполнив до отказа лёгкие этим чудесным воздухом, легко и споро, почти вприпрыжку пошёл домой.

О том, что в гостях у Стасика я больше никогда не бывал, я думаю, говорить излишне.

А вскоре семейство Дундуков перебралось на жительство в Горький. Отец Стасика окончил аспирантуру и стал работать в одном из горьковских институтов.

После окончания школы группа ребят из нашего класса отважилась поступить в университет. В общежитии, где мы жили во время экзаменов, был буфет, и там можно было на скорую руку перекусить – взять бутылку кефира, колбасы грамм сто или сосиску, чай, пирожок, коржик. Как-то раз, стоял я в буфетной очереди, и вдруг взгляд мой зацепил один молодой человек, что сидел чуть поодаль за столиком. На него нельзя было не обратить внимание. Одет не просто хорошо, а красиво, элегантно. Синий, из тонкой шерсти хорошо отглаженный костюм, в тон костюму синяя рубашка выгодно оттеняли матово-смуглое лицо.

Великолепные, пышные, будто у эфиопа волосы зачёсаны назад, а небольшие залысины ещё более чётко обозначают высокий рельефный лоб. Сидит молодой человек в небрежно задумчивой позе, и усталый взгляд вперил в одному ему только видимую даль. Печорин середины двадцатого века!

А я всё нет-нет да опять взгляну на него исподтишка. И вдруг заметил как у него немного отвисла полная нижняя губа, и чуть обнажились крупные иссиня белые зубы. Наконец наши взгляды схлестнулись. Батюшки светы! Да это же Стасик Дундук! У кого же могут быть такие бесподобные светло-голубые глаза!

Встретились взгляды и тут же молниеносно отскочили в стороны. Оба, и он и я, сделали вид, что не знаем и никогда не видели друг друга. Ну, а что же, я должен был броситься к нему, заключить в объятия и возгласить: «Стасик! Неужели? Сколько лет, сколько зим!»

Стасик, об этом не трудно догадаться, очевидно тоже поступил в университет. А сидел в сторонке, просто ожидая своей очереди в буфет. Ну, не стоять же, право, ему среди всяких-прочих. Чего доброго ещё костюм помнётся или просто будет дурно пахнуть.

Я в университет тогда не прошёл по конкурсу так же, как и ещё несколько моих одноклассников. Система отсева там была отработана чётко. Разумеется такое фиаско первоначально весьма ощутимо ударило по самолюбию. Но чем ни дальше шло время, тем больше я радовался, что всё получилось именно так. Господь Бог располагает, куда повернуть наши пути, и гораздо лучше нас знает, когда и как это сделать.

А Стасик? Я, конечно, не знаю точно, но мне думается, что он поступил. А кому же ещё и учиться в

университетах, как не таким импозантным выюношам, как Стасик Дундук?

... Прошло много лет. Больше полувека. И вот не знаю уж почему, но вспомнился вдруг этот самый Стасик. Разобрало любопытство, захотелось узнать, где же теперь Стасик, как сложилась его судьба. Я позвонил его тётушке, ей было за девяносто, но память и ум у неё были ясные.

«Во-первых, не Стасик, а Станислав Игоревич».

«Да, но я же учился с ним в пятом, шестом классе и помню только Стасика Дундука. А Станислава Игоревича и в глаза не видел».

«Ну, может, и так. Может, вы и правы. Так вот, Станислав Игоревич был очень умным и очень талантливым человеком. К сожалению, рано умер. Он скончался в возрасте пятидесяти пяти лет».

После такого сообщения продолжать разговор мне почему-то показалось неудобным, и я так и не узнал на каком же жизненном поприще проявлял свой ум и талант Станислав Игоревич Дундук.

— Валя, я пошла...

Клава тыркает меня в плечо, а мне – ну, никак не хочется просыпаться, никак не хочется открывать глаза. Наконец с трудом разлепив веки, гляжу вокруг, но ничего не могу понять.

— Куда ты пошла?

— В больничку пошла, в роддом...

— Да ты что, не видишь что ли – на улице-то ночь, темень. Подожди хоть до утра.

— Нет, Валя. Уж не ждётся, родной. Пойду к тётё Тане, она проводит меня. А ты уж смотри, хорошенько тут домовничай. Делай всё, как говорено.

Клава вышла на крыльцо, пошла в темени через дорогу к соседке тётё Тане. Я закрыл за ней входную дверь на шпингалет. В конурке под крыльцом недовольный тем, что его потревожили, пару раз твякнул Тузик. После ухода Клавы нас в доме оставалось четверо – Юрка, Зинка, Тузик и я.

Раздумывать над тем, что же нас ожидает в ближайшие дни, время было неподходящее. В окна глядела тёмная ночь.

Спать, спать! Сил никаких нет, как хочется спать! И здраво рассудив, что утро ночи мудренее, я вновь брякнулся в постель.

Наутро слышу, как опять меня кто-то тыркает в плечо.

— Давай вставай, родной! Вставай, касатик!

Да что же это такое? Когда же мне дадут выспаться? Сажусь на постель и опять никак не могу взять в толк, где же это я. Но вот в голове немного прояснилось. Да, да — я у Клавы, Клава ночью ушла в роддом, а будит меня соседка тётя Таня.

— Я уж Зинку-то подоила. Молочко-то вон на столе. А ты, родной, давай вставай, проводи её в стадо. Я бы и сама проводила, да делов-то невпроворот. А как сгонишь Зинку, Юрку буди. Молочка с хлебом поешьте, а потом уж и отведёшь его в садик. Давай, давай, родной, поживее. А то опоздаешь, прогонят стадо-то...

Встаю. Во дворе из рукомойника наспех умываюсь и, накинув петлю Зинке на рога, вытаскиваю её на улицу. Зинка, растопырив задние ноги, упирается, не хочет идти. Но тут приходит на помощь Тузик — яростно тьякает и норовит ухватить Зинку за ногу. Той ничего другого не остаётся как подчиниться.

А стадо уж пылит по дороге в самом конце Кербатова. Ещё бы немного помешкал, так и в самом деле опоздал бы. Пастух жогнул Зинку плетью, авансом дал ей понять, чтобы не вздумала хулиганить, и погнал не больно-то многочисленное собрание коров и коз в направление леса. У Зинки характер не мёд, это я знаю, но всё равно мне стало не по себе, когда пастух приласкал её плетью так вот — ни за что ни про что, за здорово живёшь.

Если уж мне не хотелось просыпаться и вставать, то что говорить про Юрку. Продрал глазёнки и сразу в рёв: «Мама! Где мама? Хочу к маме!» «На маме волки в лес уехали.» «А-а-а! У-у-у!»

В этом месте пожалуй что пора уже сделать кое-какие пояснения. Юрка – это мой племянник, сын сестры моей Клавы. Юрка совсем ещё маленький, ему всего-то отроду два с половиной годика. Юркиного отца, Клавиного мужа, Григория Ивановича, или попросту Гришу, по линии военкомата направили на два месяца на так называемые сборы в Гороховецкие лагеря, чтобы он хотя бы немного понюхал порошу, поскольку срочной воинской службы по какой-то причине не проходил. Клава в это время как раз была на сносях, и когда оставались последние дни, никакого другого, более лучшего варианта не нашлось кроме того, как отрядить меня, двенадцатилетнего пацанёнка, домовничать, то есть вести всё домашнее хозяйство, пока она, Клава, будет находиться в роддоме. «Не оставлять же на произвол судьбы малолетнего Юрку, козу Зинку да ещё и пёсика Тузика», - урезонивали меня.

Козе понятно, что мне это дело в середине лета было нужно – так и хочется сказать, как козе баян, да не многовато ли будет чести этой самой козе.

Однако, вернёмся к Юрке. Он гнул свою линию:

— Мама! Хочу к маме!

— Перестань ныть! Вот сейчас позову Тузика, и он тебе пипирку откусит.

Юрка затопал тоненькими, кривенькими ножками, волосёнки его вспотели, взмокли, и на лбу мелким бисером выступил пот.

— А-а-а! У-у-у!

— Ну ладно, ладно. Не будем Тузика звать. Давай попьём молочка да будем в садик собираться.

— Не хочу в садик! Хочу к маме!

— А там машину тебе дадут. Бибику. Большую. Вот такую.

Перспектива заполучить и покатать большую бибику немного отвлекла Юрку от грустных мыслей, и я налил ему в стакан всё ещё тёпленького козьего молока, вручил скрой белого хлеба. Разумеется, и сам не забыл выпить парного молочка с хлебом.

А вот про Тузика-то – э-э-э! – чуть было и не позабыл совсем. Надо, надо и ему плеснуть молочка в плошку да хлебца туда покрошить.

* * *

В целях большей оперативности между нашим домом и Клавдиным в моё распоряжение было предоставлено транспортное средство – велосипед. На этом велосипеде постепенно один за другим выучились ездить все члены нашей семьи в количестве пяти человек. Не удивительно, что за это время велосипед поцеловал изрядное число столбов, побывал во множестве кюветов и канав, отчего оба его колеса имели форму цифры 8, всё в нём болталось, хлябало и скрипело, и тем не менее, как ни удивительно, велосипед всё ещё был пригоден к употреблению.

Я как самый младший в семье учился ездить на велосипеде последним, и поскольку был ещё мал, то

ездил на нём просовывая правую ногу в проём рамы. Ездить по-нормальному пока ещё не выросли ноги.

И вот, усадив Юрку на багажник, я везу его в садик именно таким вот манером – просунув ногу под раму. Велосипед при такой езде мотается вправо-влево, вместе с ним вправо-влево мотается и Юрка, едва держась слабенькими ручонками за седло. При всём при этом он, раскрыв рот кошельком, ревёт, как недорезанный поросёнок.

Гражданки, встречающиеся нам по дороге, кричат мне вслед:

— Что ты делаешь, паразит? Убьётся ведь робёнок-от!

На кочках и ямках велосипед скачет, как козёл, и Юрка орёт ещё яростнее. Понять его можно, на железяке багажника сидеть ему, мягко говоря, не очень-то комфортно. И опять мне вдогонку летят негодующие возгласы:

— Калекой робёнка-та сделаешь!

Сопровождающий нас Тузик, не жалея сил лает на этих советчиков, как бы говоря: «Не суйтесь! Не ваше собачье дело!»

Наконец, я и сам понимаю, что риск сделать Юрку калекой весьма велик. Вылезаю из-под рамы и иду пешком, держа велосипед за рога. Юрка по-прежнему на багажнике, но его уже не мотает так из стороны в сторону, да и дорожку я выбираю где поровнее.

И вот мы в садике. Меняем ботиночки на тапочки – в садике в уличной обуви ходить нельзя. Поскольку мы заявили почти что первыми, Юрка и в самом деле к своему и моему удивлению завладел большой, красивой «бибикой».

Вот уже два дела сделано — коза отправлена в стадо, а Юрка в садик. Теперь надо съездить домой и сказать маме, что Клава ночью ушла в роддом. Мама, услышав эту весть, всплёскивает руками: «Ах, батюшки! Господи милостивый! Помоги, пособи ей в благополучном разрешении. Сходить узнать — как она там. Вот сварится супишко и сбегаяю. Да ведь вот хоть разорвися — в огороде делов-ту выше головы. Картошка ещё не вся окучена. Земля сухуща, поливай хоть каждый день. Земля суха, а трава всё равно лезет недуром. Силушки моей уж не хватает...»

Супишко сварился. Мама, осенив себя крестным знамением, пошептав: «Пресвятая Дево Богородица, превеликая наша заступница, помоги, пособи...», уходит.

Тузик во всё это время смиренно лежит в уголке, как его и нет. Когда супишко боле-мене остывает, половником черпаю со дна погуще, где побольше мясной тушёнки, накладываю Тузику в черепеню. О, кто бы видел с какой благодарностью поглядел он на меня своими чёрными, готовыми выпасть, глазами.

В один момент оформил порцию и смотрит, а не обломится ли ещё? Черепеньку вылизал так, что и мыть не надо.

— Ах ты, прохиндей! Хватит. Заморил червячка и ладно.

Тузик всё понял и снова свернулся калачиком в углу

— Пойдём-ка лучше сходим с тобой в огород, посмотрим какая там обстановка.

Тузик — небольшого росточка пёсик — дворняжка, но умненький, шустренький. Шёрстка белая в чёрных

пятнах-кляксах, ушки оба чёрные. Спит Тузик – и ушки опущены. Если ему что-то объясняешь или просто с ним говоришь, головку делает немного набок и одно ушко наводит. И только в минуты особого напряжения внимания или злобы оба уха стоят сторожком.

Тузик живо откликнулся на моё предложение. «В огород – так в огород. Кто бы спорил, но не я» - и Тузик вприпрыжку на трёх ногах устремляется вперёд. На трёх – это для понту. Гляди, мол, как мы умеем и учись.

У мамы в огороде, как всегда, всё обихожено, везде порядок. Ну, может, уж не идеальный, так ведь поди кто управься с таким усадьцем – 25 соток! Поживиться, правда, тут пока ещё особо нечем. Едва-едва разыскал один разьединственный огурчик, зато такой ли крепенький, такой ли ядрёный – так и крякнул, так и хрупнул на зубах. Нет, Тузик, ты такой не будешь. Это тебе не понравится.

А вот и мама пришла. Глаза радостью светятся.

— Разрешилась Клавка-то. Парнишонку опять принесла. Только черноголовенькой. В неё, видать. Теперь что? Дней пяток там побудет да и домой придёт.

— Ого! Это мне целых пять дней там и торчать? Знаешь ли, Юрка-то какой облай? А Зинка-то блудня, таких-то, наверно, больше во всём свете нет. Иди вот сама да и домовничай там.

— Давай, давай. А ты за меня вот тут в усаде будешь управляться. Ладно, дурака-то не валяй. Скоро вот да и обедать будем. А что-то это супу-то вроде как убыло? Ты уж ел что ли? Нет? Куда же он делся?

После обеда мы с Тузиком отправляемся купаться на Волгу, и радости его нет границ.

Однако всё хорошее почему-то очень быстро кончается. Не хочется, конечно, домой, но что делать — надо. Там, дома, велосипед. Надо Юрке наладить на раму что-то вроде сиделки. И вот, вернувшись домой, отыскал в чулане старую фуфайку, оторвал от неё рукав, обернул и пришпандорил его бечёвкой к горизонтальной трубе рамы. Хорошо, мягко теперь будет Юрке!

И правда — вот везу я его из садика домой, и он уже не орёт. Совсем другой табак! И прохожие граждане, хоть и оглядываются на нас, хоть и качают сокрушённо головами, однако возгласов возмущения почти не слышать.

Дома — имеется в виду дома у Клавы — Юрка снова кукуется.

— Где мама? Хочу к маме!

Надо его чем-то занять, чем-то отвлечь от этой назойливой мысли.

— Ну, давай порисуем. Вот смотри какой хороший карандашик. Давай нарисуем домик. Не хочешь домик? Ну, давай человечка. Вот гляди: точка, точка, запятая — вышла рожица кривая. Ручки, ножки, огурчик — вот и вышел человечик. На карандашик.

— Не хочу калядасик. Хочу лябаськи.

— Какой ещё тебе лябаськи? Я почём знаю, что за лябаська.

— Хочу лябаськи! А-а-а! У-у-у!

И рот у Юрки опять открывается будто кошелек. И слёзы ручьём, и волосёнки мокрые от пота. Едва-то едва догадываюсь, что он хочет колбаски. В подполье в кастрюле есть шматок колбасы. Отрезаю кружок и

кладу на скрой хлеба. Ешь. Но Юрка хлеб протягивает мне – ешь сам, и колбасу уминает без хлеба.

* * *

У Клавы есть часы-будильник. Большие чёрные стрелки, если поглядеть на них бегло, так вроде и не двигаются совсем. Но это очень обманчивое впечатление. Они двигаются да ещё как! Стадо приходит в Кербатово около семи. Так вот сейчас на часах и есть около семи, и надо быстренько, во все лопатки чесать встречать козу Зинку.

Беру Юрку за хиленькую ручонку, но он никак не поспевает за мной. Рот кошельком и... и как всегда: «А-а-а! У-у-у!» Приходится вскидывать его на закорки и уж не идти, а бегом почти что бежать. Тузику отчего-то весело, и он шариком катится впереди.

Все встречают скотину с кусочком посолённого хлеба, а у меня и нету. Но и Зинки-то что-то не видать. Вот уж и всё стадо разобрали, а Зинки нет как нет. И пастух уж ушёл. Сердчишко моё что-то захолонуло, и кишки в животе будто в верёвки свивает. Что делать? Ведь забрела, наверно, блудня такая, в чей-нибудь огород, но как теперь её найти? Да, пастух с самого утра угостил её плетью видимо не зря.

— Тузик! Давай помогай!

Тузик повернул голову немного набок, приподнял одно ухо. Весь внимание – я слушаю и жду приказаний. Даю Тузику понюхать верёвку в том месте, которое обычно накидываю на рога.

— Зинку ищи! Зинку!

Тузик два раза чихнул, то ли от того, что верёвка пахла псиной, то ли тем самым хотел прочистить нюх, а

может просто хотел сказать – «понял!» Ушки его вскинулись вверх, и вот он стремглав ринулся вперёд. На задах Кербатова большие усады, и только малая часть их занята под огороды, а за огородами высокая, густая трава. Но в траве козу всё равно бы заметил. Она, блудня, шастает где-то в буйных зарослях то ли вишни, то ли сливы, то ли терновника. Вот и попробуй там её разыщи.

Тузик время от времени останавливается, поднимает нос кверху, понюхает с одной стороны, с другой – и снова на поиски. И вот наконец он заходится звонким, радостным, заливистым лаем.

— Нашёл! Нашёл негодяйку! Ну, молодец! Ну, умник!

Вот помощник, так помощник! Нет, не зря ты хлеб ешь!

Бегом бегу туда, к Тузику. У козы есть намерение смыться, но помощник мой на корню пресекает её планы. Нет, уж теперь не уйдёшь, голубушку. Накидываю верёвку на Зинкины рога и на короткой тяге тащу её в прогон, а потом и на дорогу. Когда Зинка упрямится, Тузик сзади победным лаем подгоняет, подбадривает это блудливое создание. И коза, опасаясь за целостность своего переполненного вымени, наконец смиряется со своей долей. Сила силу ломит! Зинка! Сколько нервных клеток в моём совсем ещё юном организме погубила ты навеки своим поведением! Я и сейчас ещё очень хорошо помню твои янтарно-жёлтые глаза с продольной щёлкой зрачка. С виду поглядеть – так самая обыкновенная глупая коза. Ага, глупая! Как бы не так!

Ну, ладно. За давностью лет прощаю я тебе все твои проделки.

Доставляю Зинку в её хлевце, и тётя Таня уж тут как тут, пришла её подоить. Зинка послушно стоит, но видимо из-за того только, что полная, тяжёлое вымя ей в обузу. А может тётя Таня слово какое знает.

— Ну, вот, подоила. Пейте. Если скиснет, простоквашу ешьте. А не то, творожку вам из простокваши сделаю.

День незаметно, постепенно превращается в вечер. Мама наказывала к вечеру полить у Клавы хотя бы огурчишки, а то ведь сдохнут. За двором стоят две железных бочки с тёплой, нагретой за день водой. Воду я наносил в них, ещё когда Клава была дома.

Поливаю огурцы, морковку, ещё какую-то дребедень. Вот нашёл хорошенький, крепкий огурчик, вручил его Юрке.

— Не хочу! Хочу лябаськи!

И как всегда – рот кошельком. «А-а-а! У-у-у!»

— Ах, ты ныла кость. Какой ещё тебе лябаськи? Пойдём спать

— Не хочу спать! Хочу лябаськи!

Длинным показался этот первый день моего домовничанья, но вот закончился и он. Юрка, устав реветь, с последними, тихими уже, всхлипами уснул в своей кровати. Я тоже пытаюсь уснуть. Пытаться-то пытаюсь, а перед закрытыми глазами сами собой встают то Зинкины жёлтые буркалы, то Юркин широко разверстый рот. Ага, не хватало ещё, чтобы и во сне любоваться этими прелестями. Нет уж, спасибо. И Тут вспомнился Тузик, чётко нарисовался в памяти и заслонил собою прежние картинки. Сразу спокойно и тепло стало на душе. Ах ты, мой дружок! Ах ты, умница-собачка!

— Давай вставай, родной! Вставай, касатик! Я уж Зинку-то подоила.

Начался второй день моего домовничанья. А всего их было пять. Чем-то они походили друг на друга, чем-то отличались.

Помнится, как в один из дней после того, как я отвёз Юрку в садик, по радио разучивали задорную детскую песенку:

На пятёрки я учусь, я учусь.
Я мальчишек не боюсь, не боюсь.
Я полы подмету, вымою посуду,
И воды принести я не позабуду.
Всё сумею, всё успею,
Всё сумею сделать!

Если бы всё это не про девчонку, так как раз бы про меня.

Помню, в садике был выходной, и мне целый-то день пришлось возжаться с Юркой. Пошли мы с ним в Кербатовский овраг. По краям оврага росли высоченные старые вязы, тополя, берёзы. А в тех местах, куда достигало солнышко, по склону росла алая душистая земляничка. Юрке очень уж понравилось разыскивать в траве сладкие ягодки и тут же отправлять их в рот.

Внизу оврага бежала хрустально-чистая родниковая вода. В одном месте был сделан деревянный лоток для того, чтобы воду можно было набрать в ведро или просто так попить. И мы набирали в пригоршни эту вкуснейшую ледяную воду и пили. Но немного, немного. Много нельзя – горлышко заболит.

А потом спустились в самый низ, Волге, где пологий берег заканчивался светлою полосой чистого горячего песочка. Грелись на этом песочке, пускали по воде «блинчики» плоскими камушками. Юрку не вытащить было из воды. У самого берега она была тёплой и ласковой.

Ну, а как нравилось шнырять туда-сюда по оврагу Тузику, как он рад был искупаться вместе с нами, об этом и говорить нечего. Искупавшись, он судорожным движением тела он стряхивал с себя воду, будто из душа обдавая нас с Юркой миллиардами брызг, ярко вспыхивавших на солнце, и Юрка хохотал от удовольствия.

По вечерам мы втроем, Юрка, тузик и я, встречали козу Зинку, и она понемногу стала к этому привыкать. Мягкими, замшевыми губами она с благодарностью и с осторожностью принимала из моих рук кусочки подсолённого ржаного хлеба.

* * *

На шестой день вернулась из больницы Клава. В руках у неё был маленький свёрточек, из которого выглядывала маленькая розовая рожица. Рожица морщилась, куксилась, кряхтела, и время от времени на ней открывался маленький красный «кошелёк». Это и был произведённый Клавой на белый свет новый человек, которому предстояло расти, расти и расти.

Время от времени я навещал Клаву, чтобы хоть чем-нибудь ей помочь. Когда я приходил, Тузик лежал около крыльца, отвернув голову в сторону и глядел куда-то отрешённым, равнодушным взглядом. Я приседаю на корточки.

— Тузик! Ты что, шельма!

И вот Тузик, не в силах более выражать ноту обиды за то, что я ни за что, ни про что оставил, покинул его, с визгом бросается ко мне, лижет руки, щёки, нос своим горячим шершавым языком.

— Тузик, я не могу с тобой жить, у меня есть свой дом. Но я же люблю тебя, дуралей. Понял?

Тузик смущённо и досадливо чихает пару раз — «понял».

Где-то через месяц вернулся с военных сборов и Григорий Иванович. За время пребывания в военных лагерях он сильно загорел, будто бы с какого-нибудь южного курорта вернулся. Посвежел и даже как-будто помолодел. В общем прибыл преисполненным новых сил и возможностей, и потому, недолго мешкая, произвёл на свет ещё одного, третьего по счёту, наследника.

ЛАГЕРЬ, ИЛИ СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Валентина Константиновна, наш классный руководитель, долго смотрела на меня каким-то особенному значительным взглядом, на губах её играла загадочная улыбка, и, наконец, будто букет цветов вручила:

— Поедешь в Артек!

— В Артек?! Я?!

— Ну, не я же.

Тут у меня в зобу дыхание спёрло, но не от радости, а от неожиданности, от испуга почти.

— А почему я? Других-то что – нету что ли? И зачем я туда поеду, мне и тут хорошо.

— Ты что, чудак? Впервые – ты понимаешь это – впервые на наш район пришла всего одна путёвка. Ты знаешь сколько желающих было заполучить её? Василию Ивановичу все пороги обили. А ты... «тут хорошо!»

— А чего я там буду делать?

— Как чего? Учиться, отдыхать. Здоровья будешь набираться. Это же – Крым, юг, море!

— Так а что я – чахоточный что ли?

— Не чахоточный пока, а всё равно вон какой-то бледно-зелёный.

Я исподлобья с укоризной глянул на Валентину Константиновну.

— Ну, ладно, ладно. Не злись. Ведь не я же тебя посылаю. Педсовет так решил. И тем, кто пороги Василию Ивановичу обивал, он так и объяснял – я сам ни чего не решаю, педсовет будет решать.

Валентина Константиновна сделала паузу, видимо раздумывая, рассказать мне или нет о том, как проходил

этот педсовет. Всё-таки решила рассказать, только вполголоса, тем самым давая понять, что это не для разглашения.

— Созвал Василий Иванович педсовет и говорит – так и так, на нашу школу выделили путёвку в Артек, и нам надо послать лучшего ученика из шестых классов. Я посмотрел журналы успеваемости. Лучшей кандидатуры, чем Лукин Валентин из шестого класса «Б», не нашёл. Кто за то, чтобы послать Лукина Валентина во Всесоюзный пионерский лагерь Артек, прошу голосовать. А сам уже заранее руку поднял. Единогласно. Переходим к следующему вопросу.

Вот так вот дело было. А ты ещё тут кочеврёжешься. Да, чуть не забыла. Василий Иванович назавтра приглашает к себе в кабинет маму твою. После обеда. Скажи ей, не забудь.

Выхожу из класса, а по коридору – лёгок на помине! – шествует не кто-нибудь, а сам Василий Иванович собственной персоной. Тело его – крупное, широкогрудое и широкоплечее занимает довольно значительную часть коридорного пространства. И идёт он крупным, размашистым шагом. Пóлы светло-серого пиджака расстёгнуты и развеваются по сторонам будто наполненные ветром паруса пиратской фелюги. Какой-нибудь из школяров-сорванцов вывернется нечаянно из-за угла, ткнется об Василия Ивановича и тут же отлетает в сторону, будто горох от стенки. А Василий Иванович даже и внимания не обратит на такую мелочь. Идёт и улыбается каким-то своим приятным мыслям и будто не видит ни кого.

С учителями, понятное дело, здороваются. А ученикам иногда кивнёт, а иногда — и так сойдёт. Их много, учеников, всем не наливаешься, голова отлетит. Вот и меня не замечает. Да он и не знает меня вовсе. Ведь он ведёт историю в старших классах. И мою кандидатуру в лагерь определил чисто эмпирически — по отметкам.

И тем не менее, прежде, чем принять окончательное решение, он направил к нам домой некую комиссию — завуча, классного руководителя и старшую пионервожатую. Комиссия пожаловала как-то врасплох, знать бы, так прибраться всё же хоть немного.

Комиссия как зашла в избу, так и, мягко говоря, оторопела. Спёртый воздух да ещё и с улицы хорошо, должно быть, шибанул им в нос.

Мама рассадилась на табурет, кого на скамейку — добро жаловать! А если бы ещё один человек пришёл, так и посадить не куда.

— Так это вот тут вы и живёте?

— А где же ещё, родная моя, нам жить? Чай, не на воли. Морозно на воли-то.

— Сколько же вас человек в семье?

— Сейчас-то что, сейчас посlobоднее. А бывало восьмером тут обитались. Баушка, мы с отцом да робят пятеро. Баушка с отцом померли, старши детки кто замужем, кто женился. Теперь посlobоднее...

— Да ведь где-то же спать надо. Где тут спать-то? А кто где. Кто на полу, кто на печи. Летом вот гоже. Все робячишки на сенницу спать забираются. За стеной вон передняя изба, да на зиму запечатываю. Там галанка одна — поди-ко протопи. Сколько дров-ту надо...

— Ну, а где же ваш отличник уроки-то учит?

— Как где? Чай, вон стол. За столом и учит.

— Да...

— А что это вам наш-от стол не ндравитца? Чистой. Кажну субботу ево косарём скоблю.

— Оно и видно. Столешница-то вон как волны в море.

— Ну ток, мила моя, ему, столу-то сто лет в обед. Могёт ещё при царе-косаре купленной. А Валька-то, коли чего письменно делат, дак клеёнку на стол-от постилат. Нет, уж зря-то нечего говорить – он у нас вакуратной. Книжки все газеткой обложены, год пройдёт, а оне у ево как новы. Хоть опять по им учис.

— А вот у вас в уголке иконки, лампадка горит. Вы верующая?

— Знамо верующа. А как жо?

— И в церковь ходите?

— Где ноне церкви-те? В Катунках останну церковь и ту сломали. Куды ходить-то? Так уж – утром лоб окстишь да и ладно...

— А ученик?

— Што ученик? Ученик как в первый класс пошёл, так и... крестик сняли. Тут октябрыты, тут пионеры. Щас времё друго, жись друга. Мы – стары, нас не переделат. А ему в севодняшней жизни жить. А время, родны мое, переменчиво. Могёт опять и на то, что было повернётца. Одному Богу это токо ведомо...

Вот попереглядывались учителя, губками пожаткали да и удалились восвояси. Чего уж они там доложили Василию Ивановичу, это, как мама говорила, одному Богу известно. Но трудно было не понять, что в семье, где они побывали, материальных излишеств нет.

Ну, что же – пришёл час идти маме на приём к директору школы, к Василию Ивановичу. Прибарахлилась маленько, жакетку плисовую одела, платок вязаный да чёсанки с галошами.

Сiju, книжку читаю, жду её возвращения, а у самого кошки на сердце скребут. Вернулась наконец. Я сразу с расспросами – что да как?

— Да погоди. Чай, дай раздеться-то. Што, што... Пришлось уж соглашатца. Это, грит, ему как награда больша за учёбу.

Немного раздышавшись, стала рассказывать и поподробнее.

— За ручку поздоровкался. Усадил за стол. Как, спрашивал, вам имя-отчество. Большо спасибо, грит, Марья Дмитриевна, что такова хорошева да умного сына воспитали. Поедет он у вас на юг, к морю, в пионерский лагерь.

А я ему – спасибо, конечно. Только ведь он у нас нигде не бывал, ничего не видал. Может, уж кого другова послать, кто побойчее, а ему и дома гожо. Передёрнуло его – ну как же вы не поймёте? Знаете ли сколько желающих приходило ко мне с просьбой – их деток направить?

А у меня сердечушко-то вот болит, вот ломит – силы нету. Говорю ему – так вот и посылал бы их, желающих...

Ну, всё же кое-как уговорил вроде. А потом и говорит – там ведь всё бесплатно. И жильё, и пропитание, и одёжа тамошня, казённа. Вам надо будет токо за проезд заплатить. Вот тут уж я снова напоятну – да где же я эдаки-те деньжищи возьму, ты што, родной? Чай у меня каждая копейка на учёте. У тебя вот скоко деток-ту? Одна дочка? Вот то-то. А у меня их

пятеро робят-ту. Отец-от умер – Вальке-то всего шесть годов токо было. Всех надо обуь, одеть, накормить. Вы, чай, поди, обое работаите – и сам, и жона? Вот тебе никак и не понять. Знашь ли каку мне пенсию-ту дают? Скажи курицам – и оне засмеютца. Так что, родной, давай-ко ково другова посылай. Кто просился у тебя, те пускай и едут. А у меня денег нету.

Поёрзал, поёрзал он на стуле. Стул кряхтит, он кряхтит. Хлопнул рукой по столу – ладно, грит, найдём денег на поездку.

Ну, что делать-то? Пришлос уж соглашатца... Такие вот дела...

Да. Всё обговорено, всё решено. А с того дня у меня на душе становилось всё более тревожно и беспокойно. Ну, вот сил никаких нет, как неохота никуда из дома уезжать!

И вот – дорога! В дороге, по правде сказать, и хорошего-то ничего не было. Посудите сами, трое суток безделья и скуки – это вам не баран начхал. Ведь мама права была – отродясь я из дому никуда не отлучался даже и на неделю. А тут – один, неизвестно куда и на целых два месяца.

До Горького меня провожал старший брат. В день отъезда нам надо было прийти в районный Дом культуры к 6 часам утра. В ночь, в темень мы пёрлись из одного конца посёлка в другой. Как раз в этот день до Горького отправлялся автобус-шарабан с комсомольцами-добровольцами, они ехали осваивать просторы целинных земель. Всё было так, как пелось в популярной в то время песне:

Мы пришли чуть свет
Друг за другом вслед.
Нам вручил путёвки
Комсомольский комитет.
Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новосёлами
И ты и я!

Хмурые, невыспавшиеся, видимо, изрядно подавшие накануне отъезда комсомольцы получали в фойе Дома культуры путёвки и с чемоданами, с узлами и мешками с великим трудом забирались в фанерный шарабан-автобус.

Мы с братом были вроде довеска к этой команде, и когда мы самыми последними втискивались в эту колымагу, все места были уже заняты и весь проход завален и заставлен поклажей отважных целинников.

Брат ещё кое-как примостился сбоку на сиденье, а мне пришлось искать место среди мешков, узлов и чемоданов. Насилу-то насилу угнездился, но всю дорогу, как бы я ни поворачивался, чтобы занять позицию поудобнее, всё равно что-то жёсткое и острое впивалось мне то в спину, то в бок, то в ягодицу. Что уж там было в мешке — не знаю, должно быть, табурет вверх ножкам. Автобус — совершенно холодный, климат в нём точно такой же, как на улице. Но поскольку подо мной внизу был ещё и дырявый, щелястый железный пол, то и снизу сифонило самым немилосердным образом. А ехали до Горького довольно долго, никак не меньше трёх часов, и как я умудрился не простудиться и не заболеть — это просто удивительно.

Брату в Чкаловске, видимо, объяснили куда меня надо доставить. И вот я сижу в обширном помещении какого-то правительственного здания в глубоком и мягком кожаном кресле под развесистой пальмой. Пальма произрастает из огромной бочки, а листья её сверху чуть ли не упираются в потолок. Шурка наигранно ободряюще поглядел на меня: «Держи хвост пистолетом!» И ушёл – ему ещё каким-то образом надо было добираться домой.

Точно так же, как и я, в мягких креслах сидели ещё три мальчика, прибывших из других районов. Им так же, как и мне, велено было сидеть и ждать. От нечего делать я стал исподтишка разглядывать их. Один сухощавый, медно-рыжий, весь в крупных тёмных веснушках. Веснушки не только на лице, но и на шеи, на руках. Очень серьёзный паренёк, молчит, слова не выронит. Позже я узнал, что звать его Коля Маслов.

Второй – Саша Суханов, круглолицый и сам кругленький, улыбчивый. Подойдёт и пытается о чём-то заговорить, но тут же и забудет о чём. Смутится и снова сядет в кресло.

Третий мальчик – Костя Савин показался мне каким-то странноватым. Вскочит с кресла, ходит взад-вперёд и бубнит по слогам: «Не-го-дй!» Не-го-дй!» У меня даже закралось в голову такое сомнение – уж нормальный ли мальчик-то? Так ведь ненормальных, должно быть не посылают в Артек?

Вечером к нам, будто птица, прилетела бойкая, суетливая девица: «Я – ваша сопровождающая». И мы отправились – куда? – да на вокзал, конечно.

А дальше – двое суток нестерпимо скучной и нудной дороги. Поезд – та-та-та, ти-ти-ти – всё катит и катит на юг. За окном то медленно-медленно проплывают, то

вдруг покажутся и сразу пропадут самые разнообразные пейзажи — бескрайние, пока ещё наглухо укрытые снегом поля, далёкие перелески и леса, большие города, овеянные дымами из высоченных труб, сёла с полуразрушенными церквушками. Вот поезд громыхнёт под гулкими фермами железного моста через речку, вдруг гул стихнет и вновь он вынырнет на простор.

Однако глаза устают смотреть это бесконечное кино, всё больше и больше застит их пелена никак не утихающей тоски по дому. Смежишь веки да и уснёшь сам не заметишь как. Проснёшься, а поезд за это время — ого, сколько километров отмахал! И пейзаж за окном совсем другой, среди белых полей большие чёрные прогалины виднеются. Вдали голубеют ленточки рек, освободившихся от ледяных оков. А вот уж и совсем поля чёрные, и по ним ползают жучки-трактора.

На другой день утром очнулся от сна, а поезд выстукивает всё ту же музыку — та-та-та, ти-ти-ти. Кому-то свистнет на повороте, резко, визгливо, а кому — Бог его знает, не видно... В окно выглянул, а там — маленькие, будто детские игрушки, беленькие хатки. И деревья вокруг хаток на наши не похожи. Ого! Да ведь это уже никак Украина! Наша сопровождающая время от времени заглядывала к нам в купе — ежели желаете мороженого, соберите деньги, и я вам куплю. Ежели желаете лимонад, соберите деньги, и я вам куплю. Самим на перрон, на платформу строго запрещается!

Перед стоянкой в большом городе опять появится — в туалет во время стоянки ходить нельзя, в тамбур выходить нельзя. Всё ясно? Вот и прекрасно!

Около обеда по вагонам проносили борщ, и аромат его был так соблазнителен, что мы все четверо решили поесть горяченького. Борщ в металлических блестящих

суднах и в самом деле оказался отменно вкусным. Ведь нам в Горьком выдали только бумажные пакетики с так называемым сухим пайком – булочка, пачка печенья, два яблока и шоколадка. И всё. И это на два дня!

Заглянула сопровождающая:

— Ну, что? Молодцы! Хвалю за инициативу! Борщ – это сила!

И опять исчезла. Куда она исчезала – одному Богу только ведомо...

После борща и в животе и на душе стало потеплее. И ребятки разговорились. Познакомились, узнали кто откуда.

... На следующее утро сплю на своей верхней полке сладко-сладко, девятый сон доглядываю, а меня кто-то настойчиво тыркает в плечо – гляди! На что глядеть? Ну, посмотрел всё же в окошко, а там – вода рядом совсем. И в другом окне, что напротив, в коридоре – тоже вода. Что за чудо? Слева – море, справа – море. Э, да это же оказывается Перекоп, перешеек, соединяющий Крым с материком. В купе появилась наша сопровождающая:

— Ребята! Смотрите – Перекоп!

В Симферополе наш довольно утомительный железнодорожный вояж закончился, недалеко от платформы на привокзальной площади нас ожидал автобус, за лобовым стеклом которого красовалась табличка – «Артек». В автобусе уже сидели несколько мальчиков и девочек, они прибыли всё тем же поездом, но оказались порасторопней нас. Да и вагон, в котором мы ехали, оказался чуть ли не в самом хвосте.

Уселись? Уселись! Едем? Едем! Часа через три мы добрались до конечного пункта. Вот тут, эти здания, на целых два месяца будут для нас и домом, и школой, и много, много чем ещё.

— Девочки, за мной!

— Мальчики, за мной!

Через минуту мы, мальчики, оказались в довольно мрачноватом помещении, где нас попросили раздеться и тут же быстренько и ловко остригли «под ноль». Коля Маслов, оказавшись без рыжей шевелюры, с одними только веснушками стал совсем уж смешным. Да ведь и мы, все остальные, должно быть, выглядели не лучше.

Тут же, за стенкой – душевая. В душевой – цементный пол, стены, давно не видевшие свежей краски. Трубы с вентилями «хол» и «гор» прямо у стен, и никаких тебе душевых кабинок. В душевой, мягко говоря, прохладно. Тусклый свет падает откуда-то сверху. И вот – только этого не хватало! – костлявая, страховидной наружности тётенька расхаживает хозяйской поступью по просторному помещению. На ней, будто на вешалке, висит серый халат, калоши на босу ногу. Она то у одного, то у другого выхватывает мочалку, мыло и трёт спину. Бесцеремонно нагибает голову и трёт меж ягодиц. Криво ухмыляясь, не забывает разглядеть у каждого фасад.

— Уши, уши хорошенько мойте! Я проверю!

Под горячим душем тело мало-помалу согрелось.

Из душевой вышли в другую дверь, в другую комнату. Там на длинном столе лежала уже казённая, артековская одежда – трусы, майки, белые рубашки, полуспортивного покроя костюмчики, ну и конечно же – галстуки. Подразобрались, кому что подошло по росту.

— Всё, ребята! Теперь вы артековцы!

У меня как-то самопроизвольно проскочило в голове не «артековцы», а «архаровцы».

— Теперь – за мной! Шагом марш – в столовую!

В столовой все мальчики-артековцы показались мне совершенно одинаковыми, будто огурцы с грядки, и только вот размером один чуть побольше, другой чуть поменьше. Девочек от мальчиков можно было легко отличить, ведь их, слава Богу, наголо не остригли.

После обеда всех вновь прибывших собрала в просторной светлой комнате небольшого росточка женщина, темноглазая, с косою, короной уложенной вокруг головы. Одета она была точно так же, как и все девочки – сарафан, белая блузка и галстук на груди.

— Я – ваша старшая пионервожатая. Зовут меня Татьяна Александровна. Все два месяца я буду рядом с вами. Все вопросы, все недоразумения, какие будут у вас возникать – всё ко мне. Это понятно, да? А теперь бы я хотела познакомиться с каждым из вас.

Татьяна Александровна называла фамилии и имена, и вслед за этим мальчики-огурцы и девочки-матрёшки вставали со своих мест. Кто-то улыбался, кто-то морщил лоб, кто-то просто хлопал ясными очами.

— После обеда в лагере начинается тихий час. Пойдёмте в спальную комнату. Каждому была указана его койка и тумбочка. В тумбочке – мыло в мыльнице, зубная щётка в чехле, ну, и конечно же – белый зубной порошок.

— Ну что же, раздевайтесь и располагайтесь. Одежду нужно аккуратно сложить на табурет. Кто-то спросил:

— Так что же, разве мы так вот и будем спать в одной комнате – и мальчики, и девочки?

— А что же здесь такого особенного? Ведь вы теперь одна семья, вы – артековцы!

Ну вот, а в душевой мальчики и девочки мылись отдельно. Тут уж явно допущена недоработка. Раз уж одна семья, так что уж...

Да... У девочек, возраст коих достигал тринадцати с половиной, а то и четырнадцати лет, - это было видно даже под блузкой и под сарафаном, - формы телес набрали такую округлость и выпуклость, что явно были достойны кисти Рубенса. Не у всех, конечно, но были, были такие экземпляры. Ну, ладно. Начальству сверху видней.

После дорог, после тревог сон быстро забрал в свои объятия приморившихся ребят...

— Подъём! Быстро одеваемся и быстро в холл!

Большое и светлое помещение перед спальней, оказывается, называется «холл». Оделись, расселись.

— Нам надо определиться с некоторыми обязательными должностями. В отряде должны быть знаменосец, горнист и два барабанщика. Кто у нас будет знаменосцем?

— Я!

Смуглую, черноглазую девочку будто пружиной подбросило со стула. Она стояла и улыбалась во весь свой белозубый рот.

— Кто же это ты? Я забыла как тебя звать.

— Маша Ахтанова!

— Ты узбечка?

— Нет, казашка!

— Ну, что же – значит так тому и быть. Молодец! Смелая девочка. А кто из вас умеет играть на горне? Кто у нас будет горнистом?

— Я! Володя Самойлов.

— Хорошо. Осталось теперь найти барабанщиков. Кто у себя дома, в своих отрядах, был барабанщиком? Никто не был? Жаль. Придётся учить. Но это после...

— А сейчас, – Татьяна Александровна окинула нас весёлым взглядом, – а сейчас – в кино!

— Ур-р-р-а!

Утром нас разбудил – нет, не звук горна, – пугать весь обслуживающий персонал корпуса режущим хрипом совершенно ни к чему, утром нас разбудил властный и хорошо поставленный голос:

— Подъём! Десять минут на туалет и всем на улицу, на площадку у подъезда. Мальчикам майки снять!

И вот на площадке перед спальным корпусом нас строит в две шеренги организатор физкультуры. Ого! Крым-то, Крым, а стоять почти что голым, да с утра, да в начале апреля – это, брат, и врагу не пожелаешь.

Пионеров-артековцев скрючило от холода в самые неприглядные позы.

— Та-а-к! Выпрямились! Расслабились! И начали! Р-р-раз! Р-р-раз! Раз, два, три! Делай, как я! Делай лучше, чем я! Р-р-раз! И р-раз!

После зарядки все бегом в умывальную комнату. Девочки в свою, мальчики в свою. Эх, опять упущение! Вместе-то бы веселее! Пол, как в душевой, цементный. Раковины клёпанные из оцинкованного железа. Везде спартанский аскетизм. Лагерь был открыт в 1925 году, и

это здание с тех пор так, видимо, не подвергалось никаким усовершенствованиям.

— Обливаемся по пояс!

«Физкальтурник» смотрит, кто как обливается, и если видит, что кто-то симулирует, он тут как тут:

— Я сказал – обливаемся по пояс!

А вода – леденющая! О, мама родная! Где ты? Где ты, родимый дом? Да провалился бы этот Артек сквозь землю вместе со всем Крымом!

А «физкультурник», изверг, ещё и издевается, ходит да напевает:

Не страшны мне ни холод ни жара,
Удивляются даже доктора –
Почему я не болею, почему я здоровее
Всех ребят из нашего двора?
Потому что утром рано
Заниматься мне гимнастикой не лень,
Потому что водою из-под крана
Обливаюсь я каждый день!

Зато уж после обливания не жалеешь ни сил, ни полотенца, чтобы растереть и согреть щупленькое, околевшее тело. Тело? Ага, те-те-те- ло! Красные, как раки, бегом по лестнице в два прыжка в спальню, а там – окна настежь. А как же – проветривается после сна. Бельишко холодное, влажное. Бр-р-р!

— Строимся и в столовую, на завтрак!

Позавтракали. А дальше что? А дальше, милые мои, в школу, в классную комнату. Учиться! Вы что – забыли? Учиться, учиться и ещё раз учиться, - так завещал нам великий Ленин.

Но у нас же нет ни учебников, ни тетрадей, ни ручек, ни чернил!

— Там, в классе, всё есть, всё вам дадут.

— Ну вот, а говорили – Артек это юг, это солнце, это море. Знай себе отдыхай да загорай.

— Милый мой! Идёт четвёртая четверть. Вам там, дома, оценки за год надо будет выставять. А что вам выдадут, если вы здесь не будете учиться? Однако, надо признать, учёбой в Артеке особо не утруждали. Поначалу мне это казалось очень и очень неправильным. Курс обучения сильно сокращён. И даже в сокращённом виде сильно уплотнён. Не больше трёх уроков в день да два часа на подготовку домашних заданий, или на усвоение пройденного за день. И всё! Успел ты подготовиться или не нет – никого не касается. Вышло отпущенное по расписанию – и шагом марш на спортплощадку, или все садимся в автобус и едем на экскурсию.

Однажды была контрольная по математике из нескольких пунктов заданий, и я ну никак не мог справиться с последним из них. И только уж когда зазвенел звонок, всё-таки успел сделать, что требовалось.

Я так нервничал, другие – нисколько. Мне поставили пятёрку, другим – четыре, три. Двоек в Артеке не ставили. Да и совсем уж тупых учеников в Артек, понятное дело, не посылали.

В общем о глубоких и прочных знаниях в Артеке никто не заботился и не думал. По верхам, по верхам. Скорей, скорей. Одно не успели пройти, дальше поехали. Вот по этому, наверное, никто из артековских учителей не оставил в памяти ни малейшего следа. И винить их резону нет – видимо, такая уж была установка

– ребята приехали отдыхать, поправлять здоровье, а учёба – дело пятое.

О том, что в отряде должно быть два барабанщика, Татьяна Александровна, конечно, не забыла. Как можно? Рассадила в холле мальчиков отряда, без горниста нас оставалось девять человек. Сама села напротив и стала ладонями по коленям выбивать некие ритмические такты. Потом каждого из мальчиков просит повторить, проделать то же самое. Справились с этим только двое. Одним из двоих был я.

Дня три учила она нас выбивать фирменную артековскую дробь, состоявшую из четырёх частей. Самым сложным оказалось барабанить вместе, вдвоём, не сбиться при этом с такта. Но нет таких крепостей, которые не смогли бы взять советские пионеры! Через неделю всё у нас получалось замечательно.

* * *

Мы приехали в Артек в самом начале апреля, а в это время погода в Крыму отнюдь не курортная. Что ни день, то дождь, а то и ливень. Южное побережье Крыма от северных ветров защищает гряда Крымских гор, а Артек бережно заслоняет ещё и отрог этих гор, далеко выступающих в море. Называется этот отрог Аю-Даг, или Медведь-гора. Аю-Даг и в самом деле очень похож на фантастически большого медведя. Вот он забрался в море, припал к нему, чтобы испить водицы. Пьёт, пьёт и всё никак не напьётся.

Так вот, в дождливый день очертания Аю-Дага еле угадываются, ну, а если ливень, так и совсем его не видеть.

Но дождь – это ещё что. В один из первых дней нашего пребывания в лагере на Чёрном море разразился – так и хочется сказать – ужасно страшный шторм. А почему бы и не сказать? Шторм был и в самом деле страшной силы. Корпус со спальным помещением находился всего в каких-нибудь ста метрах от уреза воды, и многотонные волны с такой силой и мощностью обрушивались на берег, что наше здание от испуга аж подпрыгивало на месте. Что уж говорить о нас, никогда не видевших такого разгула стихии! Девчонки с головой прятались под одеяла да ещё и подушками закрывали слух.

За окном кромешная тьма, и только слышен лишь визгливый свист ветра да треск деревьев и веток, не выдержавших натиска будто взбесившейся стихии. Сквозь щели окон проникавший ветер туго надувал длинные занавеси, и они трепетали и бились будто корабельные паруса. И только лишь к утру стихла оглушившая нас за ночь артиллерийская канонада.

В дождливые дни Татьяна Александровна приносила нам книжки с головоломками, шарадами и ребусами. И мы ломали над ними головы, хорошо ещё, что не сломали наовсе.

— А ещё, ребята, нам надо разучить с вами НАШИ, артековские песни. Скоро они нам пригодятся.

Шестьдесят лет прошло да ещё с хвостиком, а в голове до сих пор держатся кое-какие обрывочки тех песен. Ну, вот хоть бы это:

Поднятие флага, туман Аю-Дага,
Тебя, наш любимый Артек,
Мы взрослыми будем, но не забудем
Это вовек!

Ну, чем не артековский гимн? А вот ещё одна, это
уже задорная, весёлая:

Эх, солёная вода,
Голубое море!
Не забудем ни когда
Ветер на просторе!

В лагере был Дом пионеров, и там работали всевозможные кружки, спортивные секции. Я посчитал, что для меня более всего подходит кружок ИЗО. ИЗО – это такой кружок, где учат рисовать карандашом и красками. Занятие вёл моложавый мужчина с красивой пышной шевелюрой. На бледных щеках его будто розы алели яркие пятна.

Как он вёл занятия? Сделает постановку – кувшин, муляжи яблок и груш. Прикрепит к дощечке три листа бумаги с нарисованными на них этапами выполнения работы.

— Вот такая должна быть последовательность в работе над натюрмортом.

И тут же торопливо куда-то уйдёт. Мы думаем – покурить, или, может, в туалет. А он заявится только к концу занятия.

В другой раз показал свои акварели – морские этюды. Рисунки гор, наброски, зарисовки. Неплохо, очень даже неплохо. Вот поставил для работы карандашом чучело

какой-то хищной птицы и... опять ушёл. Куда он уходил – одному Богу известно.

От таких занятий, когда каждый был предоставлен сам себе, не получал ни совета, ни помощи особого продвижения вперёд в овладении изобразительной грамотой ожидать было трудно. Половина ребят, видя бесплодность своих усилий, бросили это дело. Я же радовался даже хоть такой возможности подержать в руках карандаш, попачкать бумагу акварелью...

Но вот дожди как-то в раз закончились. Вверху над головой голубело бездонное высокое-высокое небо. Впереди синело безбрежное с тающей в дымке далью море. С приходом тепла очень сильно стал ощутим сладковато-терпкий запах южных вечнозелёных деревьев и кустарников. Зацвёл персик, зацвели магнолии, миндаль. Тонкий, нежный аромат их цветенья разносил по побережью лёгкий и ласковый ветерок с моря. И воздух благоухал так восхитительно, что словами и передать это совершенно невозможно.

С приходом тепла почти всё свободное от учёбы время мы проводили на спортплощадке. Теперь девизом дня стало – движение, движение и ещё раз движение! «Физкультурник» каждый раз придумывал всё новые и новые игры, соревнования, эстафеты. И неуклюжие, вялые ребята с каждым днём становились всё ловчей, горячей, азартней.

С приходом тепла пионеры-артековцы без понуканий выбирались утром из-под одеял и быстренько выбегали во двор на зарядку. Никто не корчился, не ёжился и не изображал своей фигурой вопросительный знак. Энергично, резко – наклоны, повороты, приседания.

Обливание доставляло удовольствие, и даже Костя Савин, бубнивший прежде в раковину своё загадочное – «негодяй!» – и тот, вроде бы, немного остепенился, уgomонился. На южном побережье Крыма начинался настоящий курортный сезон. В дома отдыха, в пансионаты, в санатории Гурзуфа, небольшого посёлка, что находился совсем рядом с Артеком, стали приезжать люди известные. На встречи с пионерами-артековцами нередко приходили писатели, артисты, музыканты. Однажды перед нами на открытой летней эстраде выступала не кто-нибудь, а сама Надежда Андреевна Обухова. Она, народная артистка Союза, выдающаяся певица, в то время была уже в весьма и весьма почтенном возрасте.

Получилось так, что я сидел совсем близко и хорошо мог рассмотреть не только её ярко расшитый, стилизованный под народный, сарафан, но и её саму – румяна на щеках, кольца на морщинистых пальцах. Надежда Андреевна пела популярные романсы, русские народные песни. Поскольку я сидел совсем рядом, что получалось так, что голос её прежде всего и в первую очередь попадал мне в ухо, и особого удовольствия от замечательного пения я, признаться честно, не получил.

В первые дни пребывания в лагере все двадцать человек – десять мальчиков и десять девочек – представляли из себя некую аморфную, безликую массу, и трудно было даже кого-то выделить из этой массы, разве что Маша Ахтанова, бойкая и вездесущая Маша отличалась от других, да и то, наверно, потому ещё, что была казашкой. В первую неделю чуть не каждый день шли дожди, они наводили скуку и отнюдь

не благоприятным образом влияли и на без того грустных, оторванных от родного дома, от привычной обстановки ребят. Потому-то все и выглядели вялыми и квёлыми как сонные мухи.

К тому же в первые дни шёл период акклиматизации, организм перестраивался, приспосабливался и к новым климатическим и к совсем непривычным бытовым условиям.

С приходом тёплых дней так же, как и мух начинают оживать, расправляться крылышки, вот так же и у ребяток понемногу стали выявляться свой норов, свои наклонности и привычки, и хорошее и «дурь» каждого стали всё более и более заметны. В 13-14 лет происходит ломка характера, происходят и чисто физиологические изменения. Подростки переходят определённую черту, не зря же этот возраст называют переходным. Чаши весов с добром и злом часто колеблются, и далеко не всегда в пользу добра.

Татьяна Андреевна всегда носила с собой тетрадочку в чёрной коленкоровой обложке и не выпускала её из рук. Но как-то всё-таки отлучилась на минутку, а тетрадь осталась на столе. Вездесущий Веня Козин тут как тут – сунул свой нос в тетрадочку. Оказалось, что Татьяна Александровна вела там записи о каждом из нас, фиксируя и хорошие поступки и дурные. Вот страничка, и сверху, положим написано – «Веня Козин». Страничку делит пополам линия, и справа и слева линии пометки. Правая половина страницы – одна чаша весов, левая – другая.

Веня не успел подглядеть, что там было написано именно о нём. Вошла Татьяна Александровна, поморщилась, но сдержалась, замечания не сделала.

Так вот, у Вени Козина очень быстро и очень явственно проявились ядовитенькие чёрточки в поведении, в поступках. Девчонки так и звали его не Козин, а Кознин, или даже Злокознин. Допустим, во время уроков отвечает кто-нибудь у доски и вот запнётся, запомнёт нужное слово. Веня тут как тут – прыскает в ладонь, ехидно хихикает, но так, чтобы все слышали.

Учитель поднимает его с места:

— Ну, что же, сейчас Козин прояснит нам этот момент.

Однако Козин прояснить ничего не может, стоит, наострил, наострил ушки – может, подскажет кто-нибудь. Но и подсказывать ему что-то ни кто не хочет.

— Садись, профессор!

При каждом удобном случае Веня старался подложить свинью товарищу, подставить подножку. Соревнования ли, или спортивная игра – только его и слышно, жильдит, спорит:

— Смухлевал! Я видел, видел!

Тут на него налетает, будто горный беркут на жертву, Маша Ахтанова:

— Чего ты видел? Вот это видел?

И подносит ему под нос кукиш.

— Ну, ты! Дочь степей! Полегче!

Маша тоже лезет во всякую дыру. Но она абсолютный антипод Вене Козину. Она лезет не просто так, а только когда видит несправедливость, и надо эту несправедливость устранить. Покажется Маше, что учитель занизил кому-то оценку, и она тут же доказывает учителю его неправоту. Татьяна Александровна сделает черезчур строгое замечание расшалившимся ребятам, Маша – первая заступница.

Мои земляки, ребята-горьковчане, ничем особенным не выделялись. Учились ровно, вели себя скромно. И какой-то особой дружбы между нами не было. Если с кем я и сошёлся ближе, чем с другими, так это с Валерой Шелеховым. Моя койка в спальной комнате была самой первой от входной двери, а следующая, через тумбочку, Валерина. И мы во время тихого часа потихоньку рассказывали друг другу о тех местах, откуда приехали. Он мне о Шенкурске, небольшом городке в Архангельской области, я ему о нашем Чкаловске, о Чкалове, о Волге. Валера был живым, открытым, компанейским пареньком, с ним легко можно было болтать на любую тему. Не смотря на то, что приехал из северных краёв, был смугл, сухощав. И более, чем у других, проявлялась в нём спортивная жилка. В свободные часы он не расставался с мячом, с азартом играл в футбол, да и в другие спортивные игры.

Я же любил рисовать, занимался в кружке ИЗО. Наши интересы не совпадали, потому и настоящей дружбы не сложилось.

«А ещё жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать. Кто это сказал? Это сказал великий русский путешественник Николай Пржевальский. И мы, будучи в Артеке, много путешествовали. Путешествовали, разумеется, не на лошадях, не на верблюдах, и даже не пешком. Мы путешествовали на автобусе, за лобовым окном которого красовалась написанная красною краской табличка – «Артек». Каждую неделю, а то и два раза в неделю мы куда-нибудь да отправлялись, благо на южном побережье Крыма замечательных городов и вообще замечательных

мест хоть отбавляй. Ялта и Никитский сад, Алушта и Алушка, Ливадий и Севастополь... И всюду музеи, дворцы, памятники, фонтаны и парки...

Куда бы мы ни ехали – далеко или не очень – окна автобуса распахнуты настежь, морской тёплый ветер треплет галстуки, девчоночьи волосы, у ребят они ещё не отросли, и в открытые окна, будто птица на волю из тесной клетки, вырывается и взмывает песня, что горланят взахлёб двадцать радостных и счастливых глоток.

Эх, солёная вода,
Голубое море,
Не забудем никогда
Ветер на просторе!

Шалый ветер и в самом деле гуляет по автобусу так, как ему хочется, забирается под рубашки, застит глаза.

Мы едем в Ялту, мы едем в гости к Чехову, в дом, где он прожил последние четыре года своей короткой жизни. От лагеря до Ялты всего каких-нибудь полчаса езды, и вот он, дом, уже виден в ореоле больших и в полную силу уже распустивших свои кроны деревьев.

О, я совсем забыл сказать, и хорошо, что вспомнил об этом, – с наступлением тепла нам выдали облегчённую повседневную форму одежды, а для поездок мы облачались в фирменную парадно-выходную артековскую форму – белая панама, белая батистовая рубашка с коротким рукавом, брюки небесно-голубого цвета, а если погода жаркая – то такого же цвета шорты. Ну, и галстук. Это уже всенепременно. Но не обычный сатиновый, а шёлковый – лёгкий и прозрачный.

Так вот, мы сидим такие – нарядные – и ждём своей очереди, чтобы войти в дом. А пока нам объясняют, что эти деревья, что окружают дом, сажал сам Антон Павлович. Те, что были поменьше, сажал своими руками. Но сюда из близлежащих горных лесов привозили и взрослые деревья с откопанной корневой системой, по указанию хозяина сажали возле дома, и Антон Павлович от души радовался, когда по весне эти «переселенцы» оживали, распускали почки.

В музее – на стенах фотографии, картины, пейзажи. Портреты писателя фотографические, живописные и рисованные. А как же иначе? Музей – он и есть музей.

В рабочем кабинете Чехова – стол, кресло. И мрачновато как-то немного, сумеречно, хотя день стоит ясный, солнечный. Окна кабинета выходят на северную сторону да ещё и полуприкрыты шторами. Так, видимо, было задумано. Так нужно было Антону Павловичу. Свет солнца да ещё такого яркого, южного, падая на бумагу, раздражал зрение, мешал спокойной сосредоточенной работе. Мешал спокойному течению мысли.

Но вот глаз привык к этому полусумраку, и стало возможным разглядеть рабочий стол писателя. Стол тёмного дерева, а может лак такой тёмный. Ящики, дверки по краям оторочены рюшечками мелкой резьбы. На столе письменный прибор, красивый – на чернильницах медные крышечки. Ну, и, конечно же, – пенсне. Рабочий стол писателя Чехова и без пенсне? Это невозможное дело. Я вот только что вычитал в энциклопедии, что в стране пять музеев Чехова. И в каждом музее письменный стол, и на каждом столе всенепременно пенсне...

Красивый стол у Антона Павловича, ничего не скажешь. Иначе и быть не должно. И вдруг ни к селу, ни к городу вспомнился мне мой рабочий стол, который мама каждую субботу драит мочалкой с дресвою, а потом скоблит косарём а потом ещё раз ополаскивает чистой водичкой. Высохнет стол и становится таким ли чистым, ну просто весь светится, а из столешницы, будто белые грибы с коричневыми шляпками, выпирают сучки, они ведь не поддаются косарю. Любо-дорого на них поглядеть! И точно – разбежались, что твои грибы на полянке! Нет, что ни говори, а своя красота есть во всём и везде, надо только суметь её увидеть!..

Но вот... вот экскурсовод тихо, но многозначительно промолвила:

— Сейчас к вам выйдет Мария Павловна, сестра Антона Павловича.

У нас у всех и челюсти отпали – как так? – Чехова давным-давно на свете нет, а его сестра жива? Как такое может быть?

И вот минут через пять в проёме двери появилась, будто привидение, очень старая женщина. Высокая, седая, худощавая. Опирается на палочку. Удостоила нас едва заметным кивком головы, окинула взглядом выцветших, усталых глаз и... ушла. Как тень, как привидение.

Никаких приветствий, никаких пожеланий, никаких напутствий. Не говоря уж о рассказах и воспоминаниях.

Марии Павловне было в ту пору 92 года. Она, конечно, могла бы к нам и не выходить. Но она наверняка знала, что вот она-то и есть самый главный экспонат музея. Всё позабудут ребята, но то, что

своими глазами видели живую сестру великого писателя Чехова, это не позабудут никогда.

Впоследствии мне довелось прочитать и о том, как строился этот дом, сколько сил и энергии в строительство вложила эта энергичная женщина, и о самой Марии Павловне, и о том, как она подобно доброму Ангелу-хранителю на протяжении полувека оберегала дом брата от различных, нависавших над ним бед и злоключений. Да ведь это не велика заслуга – пересказать вычитанное из других книг. Всякий при желании может найти эти сведения и ознакомиться с ними самостоятельно.

Ялта находится недалеко от Артека, и уж совсем близко от него – семь ли, десять ли километров – расположен знаменитый Никитский ботанический сад. О, это достопримечательность такой величины и такого значения, что не свозить туда ребят-артековцев было бы непростительно. И вот мы едем туда.

Для туристических автобусов да и для прочего автотранспорта предусмотрена стоянка в стороне от сада, и какой-то промежуток до входных ворот мы, как обычно, проходим строем, с горном, с барабанным боем. А как же! Знай наших!

За воротами нас встречает экскурсовод. Пионеры-артековцы народ любознательный. И сразу же посыпались вопросы:

— А почему сад называется Никитским? Его что ли Никитин основал?

— Нет, ребята. Основал сад в 1812 году Христан Христанович Стевен, швед по национальности. Но жил он в России. Никитским сад называется от того, что

разбит был неподалёку от посёлка с названием Никита. А сейчас этот посёлок называется Ботаническое.

Интересная рокировка! Ну, да ладно – чего не бывает на свете...

Мы идём уже по дорожке парка, и экскурсовод повествует нам о диковинных деревьях, кустарниках, цветах и травах, свезённых сюда со всего земного шара. Больше 10 тысяч разных видов и сортов! Ого! Не слабо.

Вот пальмы, привезённые из тропических стран, - каких только нет! Вот пробковое дерево, из коры которого делают винные пробки, спасательные пояса. А это каучуковое дерево... А это розы всех цветов спектра и даже чёрные.

Вот папайя, вот мамайя... Ага, вот уж я и заболтался.

Нет, пока не забыл, надо сказать о том, что меня, да и не только меня очень даже удивило. Оказывается вкусные кедровые орешки, которые продают в магазине, добывают из шишек дерева, но дерево это вовсе никакой и не кедр. По-научному оно называется сосна сибирская. Настоящий же кедр ливанский – вон он там стоит – могучее дерево с могучим стволом и распростёртыми далеко в стороны могучими и причудливо изогнутыми ветвями, к кедровым орешкам никакого отношения не имеет. У него шишки плотные и тяжёлые, как гири у часов-ходиков, а семечки крохотные и в пищу пригодны разве что только птицам небесным.

Экскурсовод разрешает нам подобрать с земли – ладно уж, что с вами поделаешь! – по одной опавшей шишке с того и с другого дерева. По две-три иголки-хвоинки подобрали. Не убудет, их тут много.

Женщины, работницы сада тут и там копошатся, где землю рыхлят, где обрезают лишние побеги. А по

аллейкам неторопливым шагом ходят дядечки с бородками в мягких летних шляпах. Что-то пишут в блокнотики. Умные мысли фиксируют. Экскурсовод объясняет, что это научные работники, учёные ведут наблюдения за растениями. Ведь сад – это прежде всего научное учреждение.

Хорошо в саду! И воздух тут особый, вот такой же, должно быть, в раю. Ещё бы – ведь здесь столько растений, и каждое источает свой аромат... Никитский сад произвёл впечатление. Когда садились в автобус, у многих из нас в карманах лежали подобранные там листья, хвоинки, шишки. И вот по дороге в лагерь у кого-то возникла мысль:

— Татьяна Александровна, а ведь хорошо бы было привезти в школу гербарий из листьев крымских деревьев и кустарников.

— Ну, что же – это похвально. Это можно только приветствовать.

А за образцами пород и ходить далеко не надо. Вокруг корпусов лагеря заросли лавра, лавро-вишни, магнолии, туи, тиса. А подальше – бук, граб, кипарис... В наших краях ни чего такого не растёт.

На другой же день мы уже резали по размеру листы ватмана, пришивали нитками, приклеивали клеем листочки, веточки, хвоинки. Но это не было обязательным заданием, хочешь- делай, не хочешь – дело твоё. Веня Козин стоял в сторонке и кривил рот в скептической ухмылке – пусть уж девчонки занимаются такой ерундой. Ну, не хочешь – и шут с тобой, так ведь он и других подбивает – отведёт в сторонку и что-то всё шепчет, шепчет на ухо, оглядываясь на Татьяну Александровну.

Жизнь в лагере шла своим чередом – школа, обед, тихий час, игры, ужин, кино...

Но вот с какого-то времени, да, наверное, с того самого времени, как настало тепло, в школе на уроках боковым зрением я всё чаще и чаще стал замечать, чувствовать на себе чей-то цепкий, внимательный взгляд. Оглянусь, посмотрю вокруг, а Маша Ахтанова быстро-быстро повернёт голову в сторону учителя и сидит, как ни в чём не бывало. Что-то тут не то...

А потом ещё такой был случай. В спальной, кроме входной двери, была ещё дверь на балкон, как раз с противоположной стороны. По утрам она почти всегда была открыта. И вот пока ребята, собираясь в школу, гомозисись в холле, я вышел на балкон вдохнуть глоток-другой утренней свежести. Отсюда, сверху, открывался прекрасный вид на море, на горбатую спину Аю-Дага, а вон там, не так далеко от берега высунули из воды головы братья-близнецы скалы Адалары. Серебристо-голубой дымкой и мягкой негой окутано и объято всё видимое пространство.

Вдруг совсем незаметно и бесшумно, как по мановению волшебника, со мной рядом оказалась Маша Ахтанова. Она, опёршись о перила балкона, счастливыми чёрными глазами глядела в ту же далёкую даль, что и я, и улыбалась. Тихо погладила пальцем мою руку, тихо прошептала: «Ты хороший».

Я был, мягко говоря, ошарашен, и не успел ещё ничего сказать, как в проёме балконной двери показалась сплюснутая головка Вени Козина.

— Косоглазая втрескалась!

Маша молниеносно, будто пантера на жертву, в два прыжка настигла Веню.

— Ты косоглазый! Ты косоглазый трусливый заяц! Нет, ты просто вонючий крысёныш!

И широко размахнувшись, влепила Вене хлёсткую оплеуху.

— А теперь иди и жалуйся Татьяне Александровне!

Но Веня жаловаться не стал. За «косоглазую» ему же бы и попало. В холле он держался ладонью за горевшую огнём и припухшую щёку.

— Что у тебя, Веня? Флюс?

— Да...

— Сходи к врачу!

— Пройдёт...

Как-то Костя Савин во время тихого часа мотался между рядами коек и по своему обыкновению тихонько бубнил себе под нос: «Не-го-дjay! Не-го-дjay!» Хоть он порядком и надоел с этой своей придурью, но все уж как-то смирились с этим и перестали обращать на него внимание. Бубнит и пусть себе бубнит.

Но в этот раз к нему петушком подскочил Веня:

— Чего ты всё бормочешь? Не надоело тебе? «Негодjay, негодjay!» Кто негодjay?

Костя встрепенулся, будто от сомнамбулического наития очнулся:

— Кто негодjay? Ты – негодjay!

У Вени был неправильный прикус, нижняя челюсть выдавалась вперёд. Сейчас она выдвинулась ещё дальше, обнажились мелкие редкие зубы с двумя остренькими клыками по бокам. И впрямь, ни дать ни взять – крысёныш. Веня сжал кулачишки.

Но тут рядом с Костиком – хоп! – и появился Коля Маслов. Хоп! – и появился Саша Суханов. Как же тут было мне не присоединиться к ним? Нас четверо – земляков-горьковчан.

Володя Самойлов взял Веню за плечо:

— Веня, не горячись! Пойди в сторонку, Веня! Остынь.

Володя Самойлов, горнист, коренастый, широкогрудый паренёк, всё больше и больше входил в роль непререкаемого авторитета. И в голосе его, ставшим вдруг басовитым и с хрипотцой, стали всё чаще и чаще проявляться твёрдые начальственные нотки.

А мы четверо ребятков-земляков с того дня стали всё больше и больше держаться друг друга. Вместе – оно лучше, надёжнее.

С Валерой Шелеховым хоть и не получалось настоящей дружбы, но в тихий час мы по-прежнему потихоньку травили баланду, чтобы как-то скоротать время. Валера нет-нет да и загнёт какой-нибудь солёный анекдотик, вроде бы вполголоса, но всё-таки, чтобы не только мне, но и другим было слышно. Ребятки, девчонки хихикали, прыскали в кулак.

Не знаю какой бес меня дёрнул, но я тоже решил рассказать припомнившийся анекдот с картинками. Рассказал, но вот это-то обстоятельство и сыграло со мной впоследствии злую шутку.

Севастополь! Сегодня мы едем в Севастополь! Город-герой, легендарный город морской Славы! До Севастополя путь не ближний, и песен мы спели

столько, что аж охрипли. Песни выбирали соответствующие моменту:

Эх, ты крепка закалка моряка!
Страх ты не зря наводишь на врага.
За свободу, за счастье, за Родину свою,
Моряки сражались в праведном бою!

По дороге нам рассказывают и об истории города, старое название которого было Херсонес. Рассказывают о героической обороне Севастополя в 1844-45 годах, ну, и, конечно же, о том, какой кошмар пережил город в 1941-1942 годах. Силы были не равны, и всё-таки советские моряки держались до последнего. В отместку за это Севастополь фашистами был разрушен почти полностью...

И вот нас встречает восставший из пепла, восстановленный и отстроенный вновь, красивый, молодой город. Радужно распахивает перед нами площади, проспекты, просторные улицы – светлый город Севастополь.

И вои мы – пионеры-артековцы идём по Большой Морской улице, по набережной. Идём, чеканя, печатая шаг. Идём таким порядком – впереди знаменосец Маша Ахтанова, за ней горнист Володя Самойлов, следом – два барабанщика и затем, парами, уже все остальные.

Но вот смолкает горн, смолкает барабанная дробь.

Под звонкую речёвку – и р-раз, и р-раз, и р-раз!

— Кто шагает дружно в ряд?

И уже все вместе, хором:

— Пионерский наш отряд!

— Кто шагает дружно в ногу?

Вместе:

— Пионерам дай дорогу!

Впереди – «Памятник затонувшим кораблям». Он сооружён прямо в море, не так далеко от береговой линии.

— Отряд! Смирно! Равнение налево!

Все разом, как один человек, повернув головы, отдаём салют и честь великому мужеству российских моряков.

В автобусе у нас в ведре с водой большая охапка алых тюльпанов. Объезжаем город – цветы к памятнику адмиралу Нахимову. Цветы к памятнику инженеру Тотлебену. Благодаря придуманным им фортификационным сооружениям оборона Севастополя в 1854-55 годах держалась так долго.

Памятников, музеев в городе столько, что их и за неделю не обойти. Но нельзя, нельзя не побывать на Малаховом кургане, на Сапун-горе, где земля священна, где каждая пядь её полита кровью нескольких поколений героев-моряков. И опять к подножию мемориалов ложатся цветы. Свежие, алые тюльпаны.

На обратном пути в Артек лица ребят посерьезнели, как будто все стали немного старше. Даже Веня Козин куда-то запрятал свою вечную скептическую ухмылочку. И никаких песен уже что-то не хотелось петь...

В середине мая солнце стало прищипывать по-настоящему, по-южному. Нам разрешили мало-помалу, по минутам, принимать солнечные ванны. Загорать сколько хочешь – э, нет! – это нельзя! Купаться, к великому сожалению, тоже не дозволялось – в мае вода ещё холодна.

Мы по-прежнему в выходные дни ездили по городам и весям Крымского побережья. Ездили в Большой Ливадийский дворец, где когда-то была резиденция российских государей, потом дача Сталина и, наконец, Дом отдыха. Дворец великолепный, с широким и высоким крыльцом по фасаду, с внушительных размеров колоннами, балюстрадами из точёных мраморных балясин. Чудесный парк окружает Дворец...

Ездили в Алушту и в Алупку. Перечислять, что там видели интересного, было бы уже, пожалуй, скучно.

По-прежнему ходил я в изокружок. Комнаты для кружковой работы находились в Доме пионеров. При входе – просторное фойе, и там, на тумбочке, обтянутой красным сатином, – гипсовый бюст Ленина. Невдалеке от бюста – стеклянный высокий шкаф, а в нём Красное знамя пионерской дружины. Справа и слева от знамени стоят в карауле пионеры-часовые. Проходишь мимо – надо обязательно отдать и знамени, и пионерам салют. Знамя – святыня лагеря. На его фоне фотографируют самых лучших, самых активных пионеров.

И вот в один прекрасный день, а как в скорости оказалось, и не очень-то уж прекрасный, Татьяна Александровна, наша старшая пионервожатая, собрала нас в холле, рассадил по местам и, поглядев на меня тёплым, материнским почти взглядом, объявила:

— Ребята, я хочу вынести на рассмотрение Совета дружины такое предложение – сфотографировать у развёрнутого знамени дружины пионера Валентина Лукина.

Татьяна Александровна открыла тетрадь в чёрном коленкором переплёте.

— У него очень хорошая успеваемость в школе, один из всего класса на пятёрку написал контрольную по

математике. Он оформил две стенгазеты, собрал замечательный гербарий, в библиотеке прочитал четыре книги, занимается в изокружке. Ну, и – он наш барабанщик!

Вот так новость! Ничего себе! Да почему же меня? По-моему я ничем не лучше и не достойнее других. И ребята к такому предложению отнеслись неоднозначно. Веня Козин скривил рот в презрительной ухмылке. Крякнул в кулак Володя Самойлов. Хмыкнул в сторону Валера Шелехов.

И лишь одна Маша Ахтанова радостно улыбалась и хлопала в ладоши.

На этом вроде бы всё и кончилось. Татьяна Александровна окончательное решение отложила до будущих времён. И вот Валера Шелехов, улучив момент, когда она осталась одна, выдал ей информацию:

— Так ведь он же... это, выражается, нехорошие анекдоты рассказывает...

Татьяна Александровна нахмурила брови. Собрала нескольких девочек, спросила:

— Неужели это правда?!

И те, потупив глаза, потихоньку закивали.

Разумеется после такого казуса кандидатура пионера-барабанщика Лукина на фотографирование у развёрнутого знамени была срочно снята, и так же срочно была выдвинута другая, а именно – горниста Владимира Самойлова.

Я успокаивал себя – ну, отменили и отменили, вот и горя-то! Однако настроение после этого всё равно было паршивое. Веня проходил мимо и так откровенно ехидно улыбался, что просто хотелось плюнуть в его рожу. Володя Самойлов ещё более приосанился и

разговаривал теперь со всеми свысока, а уж со мной тем более. Валера же после того, как настучал, нисколько даже не смутился и не испытывал даже и малейших угрызений совести. Наоборот – ходил удовлетворённым хорошо исполненным пионерским долгом. Когда же я попытался ему напомнить, что ведь и он ругается не менее, а раз в пять побольше моего, Валера с этим охотно согласился, но тут же резонно и возразил – так ведь меня никто не собирался и не собирается фотографировать у развёрнутого знамени.

Мне почему-то стало жалко Валеру – хорош друг! И физиономия его даже стала неприятна – широко разверстый рот, а зубы там расставлены редко-редко. И глаза запали куда-то глубоко под лоб.

Жалко было и Татьяну Александровну за то, что не оправдал её надежд и не вписался в её представление об идеальном пионере-артековце. Ведь надо же, писала, писала в тетрадочку, клала на чашу весов добрые дела, а один гнусненький плевок на другую чашку взял да перевесил.

Татьяна Александровна перестала смотреть на меня тёплым материнским взглядом, да и вообще старалась в мою сторону не смотреть. И только одна Маша Ахтанова переживала за меня гораздо больше меня самого. Как-то улучила момент, проходила мимо и с дрожью в голосе прошептала:

— Всё равно ты самый лучший!

Во Дворце пионеров была библиотека. В библиотеке книги – «Тимур и его команда», «Васёк Трубачёв и его товарищи», «Витя Молеев в школе и дома», ну, и так далее. Всё это я читал и дома. Безусловно, хорошие и

полезные книги. Но вот как-то среди этих хороших и полезных книг я обнаружил повесть Льва Кассиля «Ранний восход» о Коле Дмитриеве, исключительно одарённом художнике-подростке, по глупой, трагической случайности в 16 лет ушедшем из жизни.

В книге были помещены репродукции его работ – рисунки, акварели. Какой бы вышел из него замечательный художник! И как только наступал тихий час, я запоем, взахлёб читал эту книжку. И вот лежу, читаю. Будто мёд ложатся на сердце её строчки.

Валера окликает со своей койки:

— Эй, старик!

Лежу, будто не слышу.

— Слушай, чего расскажу!

Дверь в спальню приоткрыта, там за дверью, в холле, сидит, должно быть, Татьяна Александровна, заполняет свою тетрадь в чёрном переплёте.

Громко и отчётливо, на всю спальную комнату да так, чтоб и Татьяне Александровне было слышно, говорю:

— Валера! Мне за два месяца до блевоты надоели твои идиотские матерные анекдоты. Ты разве не видишь, что я книжку читаю? Будь добр, не мешай, пожалуйста...

Костя Савин, скрипнув панцирной сеткой, сел на кровати и, то ли с просонья, то ли вполне осознанно выдал своё фирменное:

— Не-го-дзяй!

— Кто – негодяй?!

— Ты – негодяй.

— Я шас тебе покажу негодяя!

Коля Маслов приподнялся с кровати.

В дверь заглянула Татьяна Александровна.

— Что тут у вас происходит?

Володя Самойлов уже на правах авторитетного пионера пробасил:

— Всё нормально, Татьяна Александровна! Всё хорошо!

После этого Валера поменялся койками с Сашей Сухановым, и со мною рядом стал спать как-никак, а земляк.

Вместе с приближением купального сезона неумолимо приближался и день нашего отъезда из лагеря. Татьяна Александровна предложила тем, кто желает, сходить в Гурзуф, ну, вместе с нею, конечно, и купить какие-то памятные вещицы, сувениры, как она выразилась.

Гурзуф – небольшой, но очень живописный посёлок с улочками, то спускающимися террасками к морю, то опять поднимающимися к белым домикам, крытым черепицей и отгороженным от улицы стенами, выложенными из дикого камня. Там, за этими оградами, уютные дворики, много зелени, цветы, плодовые деревья и кустарники. Там – своя обособленная жизнь, играют полуголые ребятишки, взрослые в тени обвитых виноградом террас распивают чай или самодельное вино.

В Гурзуфе, кроме пансионатов, лечебниц и домов отдыха есть ещё и творческая дача Союза художников. И если зимой там, по-видимому, не так уж многолюдно, то месяц май, конечно же, очень даже благоприятен для занятий живописью на пленэре. Мне довелось как-то видеть художника, работавшего невдалеке от лагеря. Масляными красками на холсте писал он крупные, с

хорошо сформированным рельефом, прибрежные камни. Черноморская волна разбивается о них, вздымая вверх белую пену и брызги.

Я стоял поодаль, чтобы не мешать его работе, и всё равно было хорошо видно, как ловкими ударами кисти лепит он объём влажных камней, как взвихрется под кистью белая шипучая пена. Ах, как хорошо! Вот что мне близко, вот чего хотела бы моя душа! А фотография у развёрнутого знамени – это совсем не для меня, это как раз вот для таких пареньков, как Володя Самойлов.

В Гурзуфе есть укромные уголки, пятачки, где местные умельцы продают всякую дребедень, поделки, да и не только поделки, на потребу праздно гуляющим гостям посёлка. Здесь можно купить и огромного рыжего засушенного краба, ракушку рапана, вяленых бычков. В стеклянных колбочках, в миниатюрных аквариумах плавают мелкая морская живность.

Мне понравилась шкатулка, оклеенная снаружи мелкими ракушками; по углам из ракушек выложены розочки, а в центре крышки под стёклышком пейзаж – слева Аю-Даг, сквозь стройные кипарисы синее море и надо всем голубое крымское небо. Эта шкатулка довольно долго хранилась у нас в семье.

Благодатные майские дни приходили и быстро уходили в безвозвратность, будто бесконечно набегающие на берег то ласковые, то шумные черноморские волны.

Татьяна Александровна пригласила фотографа и он сфотографировал и весь наш отряд и каждого по отдельности на фоне моря, Аю-Дага и кипарисов. Был уже назначен день проведения традиционного артековского Костра Дружбы. Машу Ахтанову будто подменили. Всё реже и реже на её смуглом лице

появлялась белая, как снег улыбка. Всё чаще и чаще в её иссиня-чёрных глазах стояла такая тоска, что казалось, она вот-вот готова заплакать.

К месту, где обычно раскладывался костёр, привезли дрова, напиленные по размеру полешки от стволов высохших деревьев, а также от деревьев, поваленных во время шторма.

Девчонки из отряда готовили номера самодеятельности — танцы, гимнастические упражнения. Маша Ахтанова намеревалась спеть песню на родном языке. Володя Самойлов разучивал какой-то ноктюрн на трубе.

И вот этот день настал. Костёр начали разводить ещё с вечера, засветло. Ребята из нашего и других отрядов теснились вокруг костра, образовав полукруг. Пламенные речи директора лагеря, председателя Совета дружины заканчивались призывом: «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!» «Всегда готовы!»

Кого-то награждали подарками, цветами, грамотами. За активное участие в работе и жизни лагеря Володю Самойлова наградили фотографией у развёрнутого знамени дружины и грамотой. Грамоту вручили и Маше Ахтановой. Валеру Шелехова наградили за активное участие в спортивной жизни лагеря.

А костёр разгорался всё сильнее и сильнее. Сухие дрова потрескивали, и искры скопом взмывали в чёрное южное небо.

Во время концерта Маша Ахтанова так переволновалась, что даже, исполняя песню, споткнулась в одном месте, и совсем было хотела уйти с импровизированной сцены, но ей дружно захлопали, и она всё-таки нашла в себе силы допеть до конца.

После концерта пели уже все вместе:

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Ну, и, конечно же, всеми любимую и как нельзя более уместную в этот вечер:

Поднятие флага, туман Аю-Дага,
Тебя, наш любимый Артек,
Мы взрослыми будем, но не забудем
Это вовек!

Я стоял в сторонке, куда свет костра почти не доставал. И вдруг совсем неслышно тенью подошла и оказалась рядом Маша Ахтанова. Она явно была взволнована, это чувствовалось даже на расстоянии, непонятно только чем. Перевела дыхание и срывающемся голосом, то ли хрипом, то ли шёпотом выпалила:

— Хочешь я сейчас же порву эту дурацкую грамоту? Зачем она мне? Ты – самый лучший, а не я и не эти...

— Да ты что, Маша? В своём уме? Что с тобой? Успокойся. Вот ты приедешь в свою школу, в свой класс, и все будут рады за тебя! Все будут тебя поздравлять и обнимать! Ведь у вас в классе, наверное, нет таких ребят, как Веня, как Валера. А потом – кого же ещё и награждать, если не тебя?

В чёрных глазах Маши вместе с отсветами костра заблестели слёзы, и она как-то торопливо и неловко

страхнула их пальцем. Улыбнулась своей обычной радостной улыбкой, взяла меня за руку:

— Ты – хороший.

— Маша, ты тоже хорошая. Добрая, честная и смелая. Маша, я тебя...

Однако сказать слова, которые она хотела бы сейчас услышать, я не мог. Я не мог обидеть неискренностью эту замечательную девчонку.

— Маша, я тебя... никогда не забуду!

Вот это оказалось истинной правдой. Во всю свою жизнь я нет-нет да вспоминал её – всегда весёлую, неунывающую, всегда готовую, не раздумывая, ринуться в бой, ежели её глаза видели несправедливость, жульничество, неправду.

Я смотрю на фотографию шестидесятилетней давности, не знаю уж каким чудом уцелевшую. Это наш пионерский артековский отряд. Вот она – Маша! Её я сразу узнал. На фотографии все улыбаются, а у Маши улыбка самая радостная, самая задорная! Себя же я еле-то, еле разыщу – самый обычный, самый невзрачный паренёк. И чего она тогда находила во мне хорошего?

Где ты, Маша? Живая ли? Как сложилась твоя судьба?

И вот колёса поезда опять выстукивают своё извечное – та-та-та, ти-ти-ти, та-та-та, ти-ти-ти.

Только теперь мы четверо ребят-горьковчан, ошастливленные пребыванием во Всесоюзном имени В. И. Ленина пионерском лагере Артек, едем домой, и настроение у нас совсем другое, чем тогда, два месяца назад. Ведь домой едем!

Коля Маслов вздыхает:

— Эх, как, чай, соскучился по мне Тарзан! Наверно, и не признает. Пёс – во! С телёнка!

— А меня ждёт, не дождётся Негодяй...

— Что за Негодяй? – вылупили мы шары на Костика Савина.

— Да попугай у нас живёт такой. Сидит в клетке и всё бормочет – «негодяй, негодяй». Отец его научил. А если спросят его: «Кто негодяй?», то он тут же ответит: «Ты – негодяй!»

Мы все четверо заржали, как сумасшедшие, чуть не лопнули от смеха. В лагере мы так никогда не хохотали.

Так открылась тайна магического слова – «негодяй».

Звенит звонок на урок. Проходит минута, другая. И вот дверь распахивается – широко, настежь, будто напористым ветром-сквозняком её расхлебнит. В класс широко и размашисто и всякий раз как-то неожиданно вторгается Александр Григорьевич. Чуть ли не от самой двери метко и ловко бросает на стол классный журнал, вслед за журналом летит связка ключей. Не успеваешь и подумать – что это за ключи, и зачем их так много, как он без всяких предисловий, без всяких вступлений, с места в карьер начинает урок именно с того места и, более того, с того самого слова, на котором прервал его школьный звонок на предыдущем уроке.

Закончив объяснение очередного закона Исаака Ньютона или, скажем, закона Ома, он садится за стол, открывает журнал. В классе в это время в это время такая тишина, что пролетит муха – и то слышно. С минуту изучает обстановку с успеваемостью подопечных оболтусов, и вот по бычьему тяжёлый взгляд вперивает в одного из нас. Трудно выдержать этот взгляд, начинаешь ёрзать по скамейке. «К доске!» Это даже не называя фамилии.

Я учился не то чтобы неплохо, а, можно сказать, даже очень хорошо, но, честно скажу, больше четвёрки у Лбова никогда не получал. Вот уж выучишь дома всё назубок и у доски всё ответишь «от» и «до».

— «Хорошо», – и в журнал ставит четвёрку.

Пятёрки он ставил только тем ребятам, что ходили к нему в кружок – они там что-то паяли делали какие-то соленоиды, собирали детекторные приёмники. Я паять

не любил и совершенно равнодушен был к детекторным приёмникам. Ну, что же тут поделать? Каждому своё.

Однажды перед октябрьскими праздниками в нижнем этаже школы, предварительно постелив на пол газетки, а потом на газетки полотнище красного ситца, я писал широкой щетинной кистью разведённым в поллитровой банке зубным порошком с добавлением клея лозунг: «Да здравствует 40-я годовщина Великого Октября!»

Пишу и вдруг вижу немного в стороне от красного полотнища ботинки эдак размера сорок пятого, давно не выдавшие ни сапожной щётки, ни сапожного крема. Поднимаю голову, а сверху надо мною, будто колосс, массивная фигура Александра Григорьевича Лбова.

«Ерундой занимаешься!». Но я же не так вот по собственному желанию взял да и стал заниматься этой «ерундой». Рядом стоял Семён Петрович, учитель рисования, вот я и выполнял его поручение.

Семён Петрович тихо и спокойно возразил: «Ну, почему же – ерундой. В жизни и это может пригодиться. Александр Григорьевич, не посчитав нужным продолжать разговор далее, пошёл по своим делам. Впоследствии же так и оказалось, что этот, приобретённый в школе навык в написании плакатов и лозунгов, не раз выручал меня на различных перекрёстках жизненных путей-дорожек.

Александр Григорьевич Лбов был учитель с университетским образованием, а таковых в школе было раз, два и обчёлся. Чувствовалось, что то, что он объясняет на уроках согласно требованиям школьной программы, это лишь видимая вершина айсберга, а основная часть лежит подспудно где-то там, в его большой и круглой, как глобус голове.

Иногда он увлекался, давал себе волю и уходил в сторону от обязательной темы. Говорил об астрофизике, о радиофизике, говорил о том, что будущее науки на стыках различных её направлений. И кого-то это и в самом деле увлекало. И многие его «любимчики» поступали в университет именно на радиофизический факультет. Если его просили об этом, он ни кому не отказывал в репетиторстве. Денег, разумеется, за это не брал.

И вот сдаёт абитуриент приёмные экзамены в университет, а у преподавателей, что слушают его, глаза на лоб: « У кого же вы учились? Кто вас так хорошо подготовил?» « Лбов Александр Григорьевич!» « А, тогда понятно! Знаем, знаем такого...»

Александр Григорьевич был фанатично предан своему предмету. По его глубокому убеждению, тот кто не занимается физикой, ну, уж в крайнем случае математикой, тот занимается ерундой. И лентяям, «оболтусам», как он их называл, спуску не давал. Держал их в ежовых рукавицах.

Вот как-то «оболтусы», сильно обозлённые излишней по их мнению строгостью и постоянными придирадками изверга-учителя, решили объявить ему бойкот, а именно – сорвать ему урок, сбежать из класса. Дело было 6 мая, и чтобы не привлекать чьего-либо внимания, решили выбраться из класса через окно. Рассуждали, видимо, так – пойдём всем классом по коридору, а если Лбов навстречу? Куда это вы, голубчики? Кто-то из самых смелых выпрыгнул и приставил к окну прочную доску. Второй этаж ведь. По этой доске и спустились вниз на землю все до одного. « Любимчики» сначала долго не решались на такой подлый поступок. « Да зачем это делать? Не надо. Нехорошо...» Но их «оболтусы» стали

обзывать такими непотребными, непечатными словами, что даже и повторить их здесь невозможно. С большой неохотой, но сползли вниз по доске и они.

Вот Лбов, как обычно, заходит в класс с журналом и связкой ключей, открыл дверь, а...а класс пуст! И окно распахнуто настеж!

О! Лучше бы этим «оболтусам» живыми не родиться на свет Божий! Лбова затрясло, и он взорвался, как вулкан Везувий. Ещё бы! Во всей школе небывалое дело! И это у него, у Лбова!

«Собрать весь класс! Выявить зачинщиков! С треском выгнать из школы! Пусть где хотят, там и учатся! Кто староста? Рукавишникова? Почему допустили такое? Примерно наказать!»

«А вы?! Вы-то что?!» – с брезгливой укоризной спрашивал он «любимчиков», - «Эх, предатели!»

Долго, будто разгорячённый бык, метался он по классу, готовый половине учеников, по меньшей мере, оторвать головы.

Долго не унимался растревоженный Везувий, а на уроках, будто медали, направо и налево раздавал двойки.

Наконец, директор школы Пикин, конечно же, и сам совсем не приветствовавший такое событие, всё-таки вынужден был сказать Лбову: «Александр Григорьевич, ведь скоро конец четверти. Ведь всем подряд двойки за четверть выводить не годится. Ты давай уж как-то маленько утихомирься».

И вот мало-помалу стало стихать огнедышащее извержение.

Повседневным, обыденным прозвищем у Александра Григорьевича было Саня Лоб. Совсем, по-моему, даже не обидное. Ну, что тут такого? Ведь говорят же про

умного человека: «Во – башка!» Но вот в восьмом классе по литературе согласно школьной программе проходили мы « Мёртвые души» Н.В.Гоголя. В книжке были помещены иллюстрации, рисунки Петра Боклевского, изображающие героев этой бессмертной поэмы. И вот кто-то из «оболтусов», ткнув пальцем в Собакевича, так и возопил: « Гляди! Гляди, это же... Саня Лоб!»

Всё! К Александру Григорьевичу теперь на веки вечные пристало прозвище Собакевич.

Да, что тут скажешь? Александр Григорьевич и впрямь не очень-то прихотливо одевался, не очень-то придирчиво относился к своей внешности. Причёска во все времена у него всегда одна и та же – стригся «под ноль», под машинку. Волос густой, жёсткий, отрастал очень быстро, и голова становилась похожа на рассерженного ежа. Но долго существовать «ежу» Александр Григорьевич не давал. Хвать – и опять голова кругла и гладка как глобус.

Галстук он одевал. Уж так тогда было принято. Но этот галстук был всегда где-то сбоку, почти под пазухой, и был затёрт до такой степени, что лоснился что твоя блинная сковорода. Первоначальный свой цвет галстук давным-давно утратил.

И брюки и пиджак утюга не видели много лет, а скорей всего с того самого времени, как были куплены.

А когда, когда, скажите на милость, было ему заниматься своим внешним видом? Девять деток воспитывали они вместе с женой, тоже учительницей, Еленой Михайловной. Вот Елене Михайловне и приглядеть бы за мужем – брючки погладить, галстук новый купить...

А когда, когда?! Году не успеет пройти, а у неё под платьем да под кофточкой опять, глядишь, арбуз выпирает, опять она на сносях! Девять человек – шутка в деле! Накормить, одеть, обуть всех надо. Но семья у Лбовых дружная, детки все работающие, на учёбу гораздые. Одна радость на душе от таких деток...

Но не зря же говорят – жизнь прожить не поле перейти. Судьба и Александра Григорьевича и Елены Михайловны вытворяла порою такие выкрутасы, что и врагу не пожелаешь.

...У Александра Григорьевича жизнь поначалу складывалась не так уж и худо. Окончил среднюю школу. А аттестат зрелости в то время давал право преподавать в начальных классах. Вот Александр Григорьевич и решил попробовать себя на педагогическом поприще, учительствовал в начальной школе в одном из сёл за Волгой.

Потом взял да и поступил в университет – Горьковский университет имени Лобачевского. Учился усердно и успешно, и его сразу же по окончании университета оставляли продолжить учёбу в аспирантуре. Не захотел. Почему – сказать трудно. Работал инженером на заводе, но и там – где-то что-то не срослось. Пришлось вернуться в родное Кербатово да и впрячься в лямку учителя физики средне школы №4.

Тут в военкомате спохватились – парню 28 лет, а он и в армии не бывал. Непорядок. Забрали голубчика. А уж женат был. Два года прослужил, и на тебе – война. Вот и получилось, что дома, в Кербатове, он не бывал целых 6 лет.

Пока Александр Григорьевич служил да воевал, отца его бес в ребро тыркнул – соблазнился молодой снохой, свою собственную жену отставил в сторону. Стал жить-

поживать с сыновней женой. А что? Плохо ли! Понятное дело, Александру Григорьевичу на фронт ничего об этом не писали. Пусть себе воюет, защищает Родину да и их грешных.

Вернулся фронтовик домой цел и невредим. Но, как увидел такую подлость – да ладно бы от кого, а то от отца родного да от законной жены, - и сильно, будто в клещи, забрала его кручина. Крутит, в узлы вяжет, сломить хочет человека. Только Александр Григорьевич оказался не слабым мужиком. Не поддался беде. Поосмотрелся, поогляделся и взял в жёны вдову-солдатку Елену Михайловну Куклину.

У Елены Михайловны муж погиб на фронте, оставив ей двоих детей...

Обзавёлся Александр Григорьевич новой семьёй, надо и жизнь налаживать по-новому. Поставил он Кербатове хороший добротный дом, построил его на отшибе, на краю оврага, чтобы ни кому не мешать, да и ему чтобы никто не мешал. Место выбрал хорошее, сзади дома по склону оврага берёзки растут, в самом овраге, внизу, ручей с родниковой водой бежит. Впереди дома, на солнечной стороне, большой огород, или усад по-деревенски. Вот и стали они с Еленой Михайловной жить-поживать да детей наживать.

А детки все трудолюбивые, как только снег сойдёт, как обнажится земля в огороде, Александр Григорьевич каждому найдёт дело, каждому определит задание по его возрасту и силам. И если придёт кто-то из приятелей его навестить, он с гордостью говорит о детях: « У меня все работают!»

Утром в школу Александр Григорьевич идёт с большим потёртым портфелем. Думаете книжки там у него, тетради? Как бы не так. Совершенно пустой

портфель, и бока его дышат, как худые меха кузнечного горна. Зато под вечер, когда Александр Григорьевич справляется домой, в Кербатово, портфель набит до отказа, аж швы трещат. Чем набит? Да буханками хлеба. Их там убирается шесть ли, семь ли. А как же – дома его ждут девять ртов ребят, да корова, да поросёнок, да куры... И все есть хотят.

... Шли годы. У отца Александра Григорьевича обеих жён, и старую и молодую, Бог прибрал. Может, болезни какие приключились. И остался он один одинёшенек. Видит – у сына, у Александра Григорьевича, дела идут ходом – и гнёздышко себе увил любо-дорого поглядеть, и в усадё у него всё родится и растёт как на дрожжах. Думал – так задаром всё даётся ему, с неба падает, а не то, так тыщи великие в школе огребают.

Зависть взяла старого. С претензиями заявился к нему. Поскольку, говорит, я стал стар, ты должен меня кормить. Александр Григорьевич кукиш сунул ему под нос. Тогда отец подал заявление в суд, чтобы Александру Григорьевичу присудили платить алименты.

Заседание суда состоялось в Доме культуры при большом стечении народа. И вот истец заявляет – я тебя на свет произвёл, и ты обязан меня содержать. Ответчик, то есть Александр Григорьевич, вынимает из кармана трёшницу – вот тебе за то, что ты меня на свет произвёл. Сходи, кружку пива выпей. А больше ты с меня ни чего не получишь.

На том судопроизводство и кончилось.

Это я, конечно, пересказываю с чужих слов. Своими глазами ничего такого не видел, и ушами не слышал.

...Последний раз мы с женой, оба бывшие его ученики, видели его при таких обстоятельствах. Гуляем

по берегу водохранилища в выходной день недалеке от Кербатова. И день стоит такой приятный, солнечный. Глядим – на самом краю обрыва сидит какой-то мужик – в старой фуфайке, в резиновых сапогах, в кепчонке. В руках палочка-хлыстик. Неподальёку четыре коровы траву щиплют. Пастух, должно быть.

Пригляделись получше – так ведь это вроде Лбов? Не может быть! Подошли поближе – точно Лбов! Пройти мимо, сделать вид, что не узнали? Нет, так не годится. Нехорошо это – всё-таки наш учитель! Подошли поближе: «Здрасьте, Александр Григорьевич!». Седая щетина на щеках. Глаза, что когда-то метали громы и молнии, взглянули на нас устало и грустно. Усмехнулся кривовато. Казалось, его смутило несколько то, что мы застали его врасплох за таким нелепым занятием. «Вот в пастухи заделался ваш учитель. Коров во всём Кербатове осталось 4 головы. Извели всех коров.хлопотно. А мы никак что-то не можем отстать. Пастуха нанимать для четырёх коров смысла нет. Вот и пасём по очереди. Сегодня мой черёд...»

Пожелав Александру Григорьевичу доброго здоровья, пошли мы дальше своею дорогой.

* * *

У жены Александра Григорьевича, Елены Михайловны, жизнь поначалу тоже складывалась не шибко сладко да гладко. Оба её деда до революции были в Василёве купцами-хлеботорговцами, и дела вели весьма и весьма недурно.

Малыгины, Рукавишниковы... Кто их не знал...

Елена Михайловна была внучкой Александра Петровича Рукавишникова и Ивана Ефимовича

Малыгина. Ей было всего один год, когда отец её Михаил Александрович Рукавишников после кулацкого мятежа, или так называемого «хлебного бунта» 1918 году вынужден был скрыться от преследований «товарищей» и навсегда покинул родные места. Мать её, Мария Ивановна вышла замуж за Ивана Ионова, бывшего приказчика её отца.

И вот чуть ли не всю жизнь лежало на ней это клеймо – купеческая внучка, дочь сбежавшего купчика. Елене Михайловне было четырнадцать лет, когда, после окончания школы-семилетки, ей с большим трудом удалось устроиться лаборанткой в организацию «Волгострой».

Тогда в Василёве в разных местах брали пробы из шурфов и в лаборатории определяли пригодность почв для предполагаемого здесь строительства мощной гидроэлектростанции. Для проведения анализов использовалась ртуть. Её парами у Елены Михайловны сначала съело эмаль на зубах, а потом и сами зубы. Чёрные останки зубов избезобразили лицо. И, тем не менее, из-за того, что в то время было трудно найти хоть какую-то работу, один из безработных комсомольцев позарился на её место. Стал доносить на Елену Михайловну, что она занимается антисоветской пропагандой.

Бумаге дали ход, и хорошо ещё, что прокурор оказался человеком здравомыслящим. Ну, как это четырнадцатилетняя девчонка может заниматься антисоветской пропагандой? Стал расспрашивать паренька, автора доноса, и тот, в конце концов, сознался, что хотел занять место Елены Михайловны. Дело прекратили.

Елена Михайловна окончила рабфак. Заочно окончила пединститут. Но всё равно – нет-нет да какой-нибудь «доброжелатель» уткнёт ей нос её купеческим происхождением.

Перед войной Елена Михайловна удачно вышла замуж за хорошего человека – Куклина Николая Петровича. Жизнь, вроде бы, стала входить в нормальное русло. А тут война. Муж ушёл на фронт, и похоронка не заставила себя долго ждать. И осталась Елена Михайловна с двумя детьми на руках...

Вступила в партию, и тут же назначили её директором Сицкой школы. И только тогда отстали от неё негодяи и злопыхатели.

Когда же вышла замуж за Александра Григорьевича Лбова, главным делом своей жизни постановила то, к чему и предназначена женщина – рожать, растить, воспитывать детей.

К двум довоенным деткам прибавилось ещё семеро послевоенных. Девять человек. Все имеют высшее образование, а кто и два. Семь воспитанников учителей Лбовых окончили университет имени Лобачевского. Четверо пошли по стезе родителей – стали учителями.

...Когда я окольными путями узнал, что у Елены Михайловны хранятся старинные альбомы с фотографиями её дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек, я набрался смелости и напросился к ней в гости. Мы пришли к ней вместе с моим товарищем В.Е.Виноградовым, чтобы сделать копии уникальных фотографий. И вот она кладёт на стол эти реликвии – в кожаных с тиснением переплётах, с застёжками. На одном из альбомов великолепная латунная роза искусной чеканки. Как ей удалось сохранить эти

бесценные свидетельства жизни своих предков – уму непостижимо! Но вот удалось!

Елене Михайловне было в ту пору совсем-совсем без малого 90 лет, она вынимала из кармашков альбомов фотографию за фотографией – все на паспарту, все замечательной сохранности – вспоминала тех, кого могла вспомнить, вспоминала и свою жизнь. А глаза её – в девяносто-то лет! – были молоды, светились неукротимым жизненным огнём!

Вот начнётся учебный год, и я пойду уже в пятый класс, и у нас будут уроки рисования! С каким нетерпеливым волнением, с каким душевным трепетом я ждал этого и думал об этом ещё задолго до начала учебного года. Ведь уроки будет вести сам Семён Петрович!

Я уж наслышан был о нём от старшего брата, от уличных ребят, что были постарше меня. В рассказах этих Семён Петрович выглядел чаще всего очень строгим и даже вредным учителем. Но к нам зимой, к брату заходили иногда его приятели из тех, что любили рисовать, и они отзывались о Семёне Петровиче как о человеке добром и очень даже хорошем. Вот тут и разберись...

Не раз и не два доводилось видеть Семёна Петровича и собственными глазами. По весне, когда начинался ледоход, они со своим старшим товарищем, уже тогда известным художником Каманиным, стояли с этюдниками на Воскресенской горе и писали масляными красками пробуждающуюся от зимнего сна Волгу. Мы, мальчишки, конечно же, тоже в это время были на берегу, и не могли не заметить двух этих странных людей, занимавшихся странным делом.

Да, кому-то они казались странными, а мне представлялись настоящими волшебниками. Ещё бы! Вот посмотришь на Волгу и переведёшь взгляд на картину – вроде бы всё точь-в-точь, а на картине интереснее, живее, лучше!

Поближе подойти, как другие мальчишки, я стеснялся, ведь они мешали им, снуя возле ног, но и издалека всё видно было хорошо, и даже лучше, чем

вблизи. Я удивлялся тому, что рисуют они одно и то же, а получается у каждого по-своему. Почему так? Интересно!

Мне было лет десять, когда в залах Дома культуры была устроена грандиознейшая выставка, в которой участвовали практически все художники, выходцы и уроженцы нашего посёлка. Это было событие! А для меня в особенности. Ничего подобного я отродясь не видывал.

Вот пишу эти строчки, а вроде бы даже и сейчас вспоминается чудный, ни с чем несравнимый запах масляных красок, что витал в залах, где висели картины. Конечно же, там были и картины Семёна Петровича Алексеева.

Выставка проходила в весенние солнечные дни апреля-мая. Природа пробуждалась к жизни, запахи и звуки весеннего пробуждения ещё более усиливали впечатление от увиденного в светлых залах Дома культуры.

А летом этого же 1952 года – надо же, каким урожайным он оказался на события подобного рода! – к нам в посёлок приехала на практику большая группа студентов художественного факультета института кинематографии. В тот год приволжскую часть посёлка, а в сущности, старинное поволжское село Василёво, уже начали ломать, приготавливая место для будущего водохранилища Горьковской ГЭС. Но пока ещё на счастье студентов-художников мотивов хоть для живописи, хоть для рисунка здесь, на отживавших последние дни улочках и переулках, можно было найти сколько угодно. В любом месте садись и рисуй.

И они, эти ребята, рисовали – тушью пером и акварелью, гуашью и цветными карандашами,

масляными красками и обыкновенным простым карандашом. Они рисовали Волгу и пристань, и приставший к ней белоснежный пароход. Они рисовали бородатого бакенщика дядю Костю и его углый домишко.

Я ходил от одного художника к другому и не переставал удивляться, как это они могут простым обыкновенным карандашом так похоже и так ловко изобразить и мостик, перекинутый через овраг, и старый баркас, и столетнюю раскидистую иву. И всё вроде бы очень просто – чирикай да чирикай себе карандашиком, а оно само по себе всё получается, как по щучьему велению.

А приду домой – возьму бумагу, карандаш в руки. Дай, думаю, попробую нарисовать хотя бы хибарку бабки Дуни, – вон как хорошо её в окошко видать! – чиркаю карандашиком, а само, да по щучьему велению ничего не выходит! Что ты будешь делать!

И всё-таки тогда, в тот памятный год, запала-таки в душу искра желания научиться этому, пусть непростому, делу. Огонь из искры разгорелся не сразу. Ой, не сразу! Но искорка не гасла, теплилась в душе... Вот почему с таким нетерпением ждал я уроков рисования.

И вот он – первый урок. Я помню его. Семён Петрович пришёл с объёмистой папкой, в ней были вырезанные из журналов репродукции с картин великих русских художников – Шишкина, Поленова, Левитана, Сурикова, Репина, Серова. Он очень толково и интересно рассказывал о каждом из них, но с какою-то особой теплотой говорил о Левитане. Мне и сейчас помнится, что левитановские дремлющие стожки я впервые увидел вот тогда на этом уроке.

Так вот – вступительной беседой урок и закончился. И Семён Петрович в тот день очень даже мне понравился. Спокойная речь, увлекательный рассказ.

На второй урок Семён Петрович принёс в качестве постановки деревянный куб, выкрашенный мелом. Положил на стул. Рисуйте.

Да... скучновато как-то. Я ожидал, что сразу будем учиться портреты рисовать, пейзажи...

На очередной урок Семён Петрович велел принести принадлежности, необходимые для работы акварелью, то есть, кроме карандаша, ластика и альбома, ещё и акварельные краски, кисточку и банку для воды. На урок он принёс нарядный букет из последних осенних цветов – георгины, астры, золотые шары, космеи.

— Будем рисовать цветы, а то они скоро да и завянут...

Ого! Сложная, однако, задача для ребят, большинство из которых не знают даже за какой конец и кисточку-то брать. Однако учителю видней. Воду в кружки мы налили ещё в перемену из школьного бака для питьевой воды. Приготовили альбомы, краски, кисточки. А рядом со мной на парте сидел Витька Кувшинов, оболтус и разгильдяй, ещё одного такого и во всей школе не сыскать. Посадили его со мной для того, чтобы я на него оказывал положительное воспитательное влияние, поскольку я был председателем совета пионерского отряда, а председателем совета меня назначили только лишь потому, что учился несколько лучше других. Логика странноватая, однако.

Итак, на учительском столе стоит букет роскошных георгинов, и надо приступить к рисованию. Витка обмакнул кисточку в воду, густо намешал ею красной

краски. И я подумал – вот молодец, с самого яркого начинает рисовать. Но не тут-то было. Витька красной краской – р-раз, р-раз – и нарисовал мне на лице крест. И, как обычно, заржал от удовольствия.

В долгу я и тогда не любил оставаться, да и до сих пор не люблю. Я намешал чёрной краски и р-раз, р-раз – во всю рожу нарисовал ему чёрный крест.

И тут над нами нависла громадная и зловещая, как чёрная туча, фигура Семёна Петровича. Поскольку я сижу с краю, хватает меня за шиворот и швыряет к двери. Я едва успеваю выносить из-под себя ноги, чтобы не упасть и не пропахать носом пол. И тут же из двери в коридор, будто пробка из бутылки, вылетает Витька Кувшинов.

— Оболтусы, разгильдяи! – летит нам вдогонку.

В коридоре Витька хохочет безумно довольный тем, что так удачно избавился от необходимости рисовать цветы.

— Пойдём на улицу! Там подерёмся! – радостно восклицает разгильдяй.

Да, очень даже уместно и своевременно было бы звездануть Витьке меж ушей или хорошенько вдарить в зубы. Столько обиды кипело и клекотало у меня внутри. Но мне хорошо попало от классного руководителя уже за то, что облил его чернилами. Ведь я же председатель совета отряда.

— Сволочь ты! Дерьмо свинячье! Пшёл отсюда... – с такою ненавистью процедил я сквозь зубы, что Витька, ничего в ответ не сказав, поддёрнул торчавшие из носа зелёные сопли, на ходу уже поддёрнул локтями вечно спадавшие с тощего зада штаны и поплёлся на улицу.

После этого инцидента я пересел было на другую парту, но классный руководитель опять подсадила его ко мне. Чего она хотела этим добиться – не знаю...

И вот... и вот опять урок рисования. На этот раз рисуем крашенный мелом деревянный цилиндр. Семён Петрович подходит к нашей парте. Зловещее выражение глаз и всех черт лица не предвещает ни чего хорошего. Остановился напротив меня:

— Почему вы рисуете в середине альбома?

— Потому что на первых листах уже нарисовано...

— Чего это у вас там нарисовано?

Подсел ко мне на край скамьи, да так, что Витька чуть не грохнулся со своего конца. А у меня в начале альбома были нарисованы ещё летом Александр Македонский, Софокл, Пушкин, Лермонтов, иллюстрации Билибина к сказке «О царе Салтане», ну и тому подобное. Всё это было срисовано из школьных учебников. Срисовыванием я занимался давно и уже набил в этом руку. В линиях – а рисунки все почти были линейными, чувствовалась уже упругость и уверенность.

— Как ваша фамилия?

— Лукин...

— Нет, вон того...

— Кувшинов.

— Ну так вот, Кувшинов, садитесь вон туда на последнюю парту.

Витька пересел. А Семён Петрович подсел уже к кому-то из девчонок и стал показывать, как надо рисовать, чтобы цилиндр был похож на цилиндр. Мне хорошо было видно как он мягким карандашом, но смело и уверенно наносит штрихи в теневой части

цилиндра, а фон уже по-другому – боковой стороной грифеля карандаша. Вот как оказывается надо!

У меня же цилиндр будто из проволоки сделан. Быстренько стал исправлять свой промах, и сразу же рисунок стал объёмнее, живее.

Витьке скучно сидеть одному на Камчатке. Он сделал из тонкой резинки рогатку, надел её на указательный и средний палец. Скрутит бумажку, сделает пульку да с задней-то парты и залепит кому-нибудь в затылок. Потерпевший чешет затылок, оглядывается, а Витьке опять весело, опять интересно жить.

Семён Петрович что-то объясняет, что-то рисует на доске, но у него – точно третий глаз в затылке. Оборачивается, пальцем подзывает Витьку.

— Ну-ка идите к доске!

Витька стоит, уши в стороны растопырил, рот до ушей и штаны локтями придерживает. Ну и сопли уж заодно внутрь подбирает.

— Как ваша фамилия?

— Кувшинов...

— А что это вы, Кувшинов, всё время смеётесь, будто дурачок? Вот раньше по Василёвскому базару ходил Ваня-дурачок и тоже всё смеялся.

Как вас звать-то? Не Ваня? Витя! Так теперь, видать, и в школе у нас появился дурачок, только не Ваня, а Витя. Витя-дурачок! Вон на вас все ребята глядят как на дурачка и смеются.

Витька делает вид, что всё ещё улыбается, но губы его уже вздрагивают и в глазу появляется что-то вроде слезы. Вот он делает попытку удрать из класса, но не тут-то было – Семён Петрович тут же возвращает его на место.

— Куда? Куда это вы? Кто вас отпускал? Нет уж, постойте, постойте, пусть на вас все поглядят, какой вы красавец. Волосы-то у вас гляди-ка какие кудрявые. Расчёска-то дома у вас хоть есть? А шея-то, шея! У трубочиста чище. В баню-то вы хоть раз в месяц ходите?

И вот уж Семён Петрович насупил брови, глаза злющие:

— Если вы будете продолжать так себя вести, я не буду пускать вас на уроки, и вас отчислят из школы. Вы что, у матери на шее собираетесь висеть? Отец есть у вас? Нет? А мать? Как её зовут? Анна Васильевна? Так я её хорошо знаю. Продавщицей в «Промтоварах» работает. Я как раз вот хочу завтра сходить туда. Надо сказать ей, чтобы купила вам ремешок. Нет, не для штанов. А чтобы ремешком припарки вам давала с утра, обед и к вечеру. Никакой вы не дурачок, а разгильдяй и лентяй. Садитесь, и чтобы у меня как мышь в норе сидел.

Витька после этого как-то сник, завял, а потом незаметно и совсем исчез из поля зрения...

В ноябре выпал снежок. Семён Петрович дал нам задание нарисовать акварелью рисунок на тему «Первый снежок». Хоть и холодновато уже было, но я сходил с альбомчиком в Липовский овраг, карандашом нарисовал подмерзающий пруд и плавающих в нём гусей, пригорок припорошённый снегом и дом Майоровых на этом пригорке, и рослые берёзы на бугре. Руки зябли. Руки зябли, и акварелью в такой холод рисовать было невозможно. Акварелью рисунок я раскрасил уже дома. Небо прокрыл ультрамарином, тёмно-синей краской. И это мне показалось уж слишком мрачным.

В школе, когда я показывал рисунок Семёну Петровичу, он смотрел долго и молча, и я подумал, что вот небо-то как раз ему и не понравилось.

— Небо только темновато, – пробормотал я, как бы в оправдание.

— Ничего не темновато, а в самый раз, – и поставил мне жирную пятёрку с плюсом и рядом расписался – С. Алексеев.

Семён Петрович предложил мне заниматься в изокружке Дома пионеров, и я несколько лет усердно осваивал там азы изобразительной грамоты. А какой радостью наполнилось всё моё естество, когда Семён Петрович после уроков подозвал меня и сказал: «Если хочешь, то давай – будешь ходить на этюды вместе с нами. Со мной и Каманиным. Из фанеры и планочек сделай ящичек-этюдник. С шахматную доску величиной, больше-то и не надо. Купи в «Культмаге» у Клавдии Платоновны Хорёвой ученические масляные краски да пару кисточек. Я думаю у тебя дело пойдёт.

Сердце моё готово было выпрыгнуть из груди – ещё бы – я, совсем ещё зелёный пацанчик, - и на этюды с самим Каманиным.

Так-то оно так, но время шло, а успехи мои совсем меня не радовали и не удовлетворяли.

Вот уж мне и годков порядочно, и пора бы всё-таки уж чему-то да научиться. Нет, воз, как говорится, и ныне там. Сколько раз меня брало отчаяние, сколько раз я думал про себя, что ни таланта, ни даже способностей нет у меня ни на грош.

Бросить бы всё к чертям собачьим, да и дело с концом! И вот тут приходил на помощь Учитель. Сколько раз он буквально спасал меня, будто утопающего из воды вытаскивал.

— Ну что, Валентин, ну, бросишь ты это занятие, ты думаешь жизнь твоя будет интересней? Да нет. Скучней будет. Появятся друзья-товарищи – выпить да закусить. А какой в этом смысл?

Нет, ты уж не бросай. Ведь оно по-разному бывает. Бывает, что сразу с молодости проявляется талант, а бывает и не сразу. Вон дерево, чтобы полную силу набрать, сколько лет растёт? А таких, как Левитан да Серов, их ведь и во всём искусстве на пальцах пересчитаешь.

А вот посмотри хоть на Каманина, что он, так вот вдруг и стал Каманиным? Как бы не так. Погляди-ка на его ранние-то работы. Вот то-то. Трудом и любовью к живописи всего достиг.

И вот наступил-таки перелом. Я стал замечать, что в моих работах пропадает робкая любительская неумелость, что в них понемножку проявляется то, что называется Искусством. Я был рад, что это стал замечать и мой Учитель. И он, может быть, по-своему радовался, что всё, что он вложил в меня за долгие годы, не пропало даром.

Давненько уж нет на этом свете моего старшего товарища, моего Учителя Семёна Петровича Алексеева. Низкий земной поклон ему за всё, что он для меня сделал.

Если говорить о внешности, то Михаил Иванович Дудичев в этом отношении составлял полную противоположность Александру Григорьевичу Лбову. Михаил Иванович как бы воплощал своим видом, да и не только видом, а всей своей сущностью, тезис А.П.Чехова: « В человеке должно быть всё прекрасно...» Михаил Иванович был поистине интеллигентным человеком, и всё в нём было замечательно – и душа, и мысли, и одежда... Одеждою Михаил Иванович обращал на себя внимание прежде всего. Не зря же говорят – человека встречают по одежке.

Казалось, что одет он всегда будто с иголочки. Костюм его был отглажен самым идеальным образом. Я не знаю, сколько у него было костюмов, но уж, конечно, не один.

Вот в зимнее время, скажем, он одет в костюм тёмно-синий в тонкую полоску. И даже Чёрное море, как известно, самое синее в мире, и то могло бы позавидовать чистой и сочной синеве его костюма. Галстук подобран в тон – тут и синее, и белое, и небесно-голубое. Воротник рубашки плотно облегал тугой узел галстука. В обшлагах – аквамариновые запонки. Это уж всенепременно.

К теплу, к маю поближе и костюм Михаила Ивановича соответственный – светлый, цвета кофе с молоком. Летом – рубашка-апах. И всё к нему идёт, всё к лицу. Волосы у Михаила Ивановича хоть изрядно

поредели да и сесть уж принялись, но всегда аккуратными прядями зачёсаны назад.

Глаза! Глаза очень выразительные. Светлы, как лунный камень, и чёрные зрачки обозначены чётко-чётко. О том, что выбрит Михаил Иванович до глянца на скулах, об этом даже и говорить излишне.

Походка, жесты, манеры – за всем этим он следил. А может и не следил, а дано всё было от рождения. Ну, вот руки – как их сам сделаешь красивыми? А у него они были красивыми, сильными, крупными.

Он преподавал у нас в седьмом классе русский язык и литературу. Он был артист от природы, и каждый свой урок стремился превратить в маленький, но хорошо поставленный и хорошо запоминающийся спектакль. Спектакль одного актёра.

Вот он объясняет состав предложения. Подходит к доске и энергичными движениями рисует мелом человечка. Голова – подлежащее, туловище – сказуемое. Это главные члены предложения. Затем к голове подрисовывает уши, волосы, к животу – ручки, ножки. Это второстепенные члены предложения – определения, обстоятельства, дополнения... Всё просто. И вот эта простая схема, конструкция предложения навсегда, на всю жизнь врезалось в память.

Сегодня он проходит по рядам меж парт, показывает репродукцию картины:

— Кто автор?

— Репин!

— Хорошо. Илья Ефимович Репин. А как называется картина?

— «Запорожцы»!

— Хорошо! «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Это полное название картины. О запорожцах вы, конечно же, знаете. Читали «Тараса Бульбу»?

— Читали!

— А что же за письмо такое вздумалось им написать и почему?

Тут уж ответить никто не может, и Михаил Иванович сам принимается рассказывать о тех исторических обстоятельствах, что легли в основу сюжета картины.

«Около трёхсот лет назад турецкий султан предложил запорожцам сложить оружие и прекратить воинственные набеги на турецкие земли. Тут-то и решили запорожцы написать ему ответ, да так смачно по казацки приперчѣнный да посолѣнный, что далеко не все слова его доступны для воспроизведения».

Михаил Иванович читает вслух один из вариантов текста запорожской грамоты. В классе дружный хохот!

— Так. А вот это что за казак?

— Тарас Бульба!!!

— Верно. А этот, с седым усом? Это сам кошевой атаман Иван Сирко, он и подписал грамоту.

Михаил Иванович ходит между парт, ни одному ученику не даст подремать, все у него шевелят мозгами, все в напряжении.

— А где же тут Остап? Где Андрей? Хорошо! А это кто? Да это же казак Голота, он не боится ни огня, ни меча, ни болота!

Дудичев рассказывает и о том, как далеко не сразу удалось Репину написать эту картину, сколько вариантов её было, сколько персонажей поменял он в ней, чтобы добиться должного впечатления.

«Ну, и о чём же эта картина? Эта картина – гимн вольности. Это гимн равенству и братству свободных людей!»

И вдруг – совсем неожиданно, без перехода, без передышки:

— А ну-ка – может быть знает кто-то из вас картину современного советского художника очень даже похожую по настроению на репинскую? Там тоже собралось много людей, и все они дружно хохочут, смеются, слушая умелого рассказчика.

Ребятки задумались. И вот кто-то из «усердных» всё-таки тянет руку:

— Это «Отдых после боя» Юрия Непринцева!

— Молодец!

Михаил Иванович достаёт репродукцию и этой картины.

— А кто же это тут главный герой? Василий Тёркин! Конечно же, Тёркин!

И опять он ходит меж рядов. Читает отрывок из «Книга про бойца» А. Твардовского. Читает вдохновенно. Он – «на коне». Он – Пётр во время Полтавской битвы. Его глаза сияют... Движенья быстры. Он прекрасен. Он весен, как Божия гроза...

Литература, поэзия, живопись, театр – всё слилось у талантливого Учителя в единое действо.

— Так вот, дорогие мои, домашнее вам задание. На выбор – хотите о запорожцах, хотите о солдатах-фронтовиках напишите к следующему разу по небольшому рассказу – ну, так, странички две...

Михаил Иванович очень тщательно готовился к каждому уроку. Я одно время дружил с его приёмным сыном – Львом Юшиным. Как-то зашли – так, между делом – к ним домой. У Михаила Ивановича разложены

на столе книги, тетради; небольшие, с игральную карту величиной листочки. В них он мелким, но чётким почерком что-то выписывал. Оторвался от бумаг, посмотрел не Лёву светлым взглядом. И тот сразу всё понял. Мы вышли на улицу.

«Работает... Не любит, когда мешают.»

Михаил Иванович учил нас всего один год. Но за этот год он научил тех, кто этого хотел, грамотно писать, что в наше время не так уж часто встречается даже у людей с высшим гуманитарным образованием.

Михаил Иванович прекрасно, хорошо поставленным голосом читал стихи. Жестикуляция, мимика выразительны, но без напряжения, без обезьянничанья.

Многое из того, что он читал на уроках, запомнилось.

Вчерашний день часу в шестом

Зашёл я на Сенную.

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую.

Ни звука из её груди,

Лишь бич свистал, играя.

И музе я сказал: «Гляди,

Сестра твоя родная!»

А как он читал Маяковского! Как-то даже и сам в это время становился похож на Агитатора, Горлана, Главаря!

Он вёл в школе кружок художественного чтения. И я знаю людей, которые до сих пор с благодарностью вспоминают школьного учителя за то, что он привил им любовь к великому русскому слову.

Он всей душой любил театр! В школе он по каким-то особым приметам, каким-то особым нюхом находил ребят, способных к лицедейству. И право же, не кривя душой, можно сказать, что многие из них были по-настоящему талантливы. Михаил Иванович подбирал подходящие для постановок на школьной сцене пьесы, и бывало, что поглядеть на них набивался полный зал – ученики, учителя, технички. Все, затаив дыхание, следят за действием, и вдруг – взрыв хохота, аплодисменты!

Ну, и, понятное дело, Дудичев участвовал сам и привлекал наиболее талантливых старшеклассников в постановках самодеятельного театра на сцене районного Дома культуры.

Ну, вот, скажете вы, уж такой весь образцово-показательный, что уж и не человек, а прямо манекен из витрины магазина. Уж будто бы и не было у него никаких эксцессов ни в школе, ни в жизни. Да нет, были, были конечно. Но и тогда он старался не терять самообладания, оставался Артистом.

Вот сидят, скажем, за партой два оболтуса. Болтают, кривляются, мешают вести урок. Михаил Иванович посмотрит на них внимательным светлым взглядом. Оболтусы поглядят на него небесно-чистыми глазами, и через минуту – опять за своё.

Михаил Иванович снимает пиджак, вешает на спинку стула. Двумя пальцами – большим и указательным – поддёргивает к локтям рукава рубашки. Берёт за шкирку, как нагадившего котёнка, одного оболтуса и вышвыривает за дверь. Точно также поступает и с его соседом. Вытирает платком руки, возвращает на место рукава рубашки. Надевает пиджак. И, как ни в чём не

бывало, будто бы ничего и не случилось, продолжает урок.

Но такие случаи, конечно же, бывали очень редки. Напоследок хочу сказать ещё вот о чём. Михаил Иванович, разбирая ошибки в диктантах, в изложениях, настоятельно советовал нам завести хорошую общую тетрадь – не обычную, тощую, за 12 копеек – а в хорошем коленкоровом переплёте и записывать в неё слова, написание которых трудно запомнить.

...С Петей Ростовым, но... под городом Ростовом ...одна скользкая ступень, ... две скользкие ступени, ... три скользких ступени, и так далее.

— Так постепенно вы будете становиться грамотными людьми. Правила позабудете, а писать и говорить будете правильно.

Вот идёт по школьному коридору – маленький, щупленький. Принахохлился. Одна рука в кармане, плечо приподнято. И ногу вроде как немного подволакивает.

И это учитель физкультуры?!

Да, это учитель физкультуры.

Полно! Воробышко какой-то, да и больной, пришибленный.

Да нет же – это учитель физкультуры Борис Александрович Пушкив. Вот он открывает дверь в спортзал, и ребятки, как горох, посыпались туда, вниз, по небольшой лесенке в пять ступенек.

Борис Александрович вешает свой пиджачок на гвоздик.

«Построились! Носочки, носочки подровняли! Плечи назад, грудь вперёд! Вот так!» Лицо его, всего минуту назад – скучное, щуплое, похожее на скомканный лист бумаги, тут же преобразилось. И в глазах, безразлично-мутноватых, принакрытых веками, будто козырьками кепочек, появилась жизнь, замелькал огонёк.

«Смирно! Вольно. Разойдись...»

Ребятки рассаживаются на длинных низких скамеечках, расставленных вдоль шведской стенки.

Борис Александрович в плотно обтягивающей тело майке, в гимнастическом трико подходит к брусьям. Телосложение у него не ахти какое эффектное, никаких тебе накаченных бицепсов-трицепсов. Сухопарое тело.

Но – смотри, смотри! Хоп! – и он уже на прямых руках. Мах назад, мах вперёд. Хоп! – и он уже в стойке на прямых руках вниз головой. А носочки! Носочки

оттянуты до предела, и сам он прям, как натянутая стрела. И вот он уже что-то замысловатое – даже глаз не успевает следить – выделывает ногами над планками брусьев. Хоп! Соскок – и Борис Александрович стоит возле брусьев как вкопанный. Не шелохнётся! И руки перед собой вперёд. Вот вам и пришибленный воробышко!

Пушков по очереди вызывает ребят к снаряду. О, как впивались эти треклятые брусья в локти, в предплечья, в мышцы плеча! Ну, прямо как железные!

Ничего, ничего! Мах вперёд, мах назад, и – вышел на прямые руки! Мах вперёд, мах назад, и – соскок! И – стоять! Стоять!

У кого-то это получалось пусть не сразу, но довольно быстро получалось. А у кого-то – ну, никак! Ничего, ничего! Давай ещё разок. Не получилось? Ничего, всё получится. Так! Так! Хоп! И – получилось!!! И какой радостью светятся глаза у неуклюжего паренька! Но и у Бориса Александровича глаза светятся радостью! Ведь это победа! Маленькая – но победа! Паренёк поверил в себя!

Нет, он, Борис Александрович Пушков был Учителем!

В спортзале школы был полный набор гимнастических снарядов для мужчин – конь, брусья, кольца, перекладина. А кроме того – канат и так называемый «козёл». И на каждом из этих снарядов Борис Александрович показывал такие штуки, что мы сидели, глядели и челюсти висели до пупка.

Но ведь одно дело показать, а надо ещё и научить. И он учил – методично, терпеливо, настойчиво. От урока к уроку.

Вот что мы, ученики-восьмиклассники, могли изобразить такое, ну, скажем, на кольцах? Да ничего! Возьмёт Пушкин кого-то под мышки, поднимет к кольцам, и вот этот «гимнаст» повисит немножко, подрыгает ногами да и брякнется тюфяк тюфяком вниз на мат. Всем смешно, но и все другие точно такие же циркачи. А вот в девятом классе всё эти же тюфяки уже могли сделать переворот, выйти на прямые руки, подержать хотя бы несколько секунд «уголок».

Самым любимым снарядом у Пушкина была перекладина, или, как мы по-простецки называли её, турник. О! Тут уж он вытворял прямо-таки чудеса. И у многих ребят разгоралось горячее желание – самим научиться всему этому. Да ради Бога! Записывайся в секцию гимнастики, и Борис Александрович, уж может и не всему, но кой-чему научит наверняка. А вместе с этим вёл ещё и акробатическую секцию. Там ребята мало-помалу осваивали всякие рандатфляты, кульбиты, сальто-мортале.

В старших классах ребята любили играть в баскетбол, в волейбол. Спортивный зал зимою никогда не пустовал, там чуть не до ночи звенели мячи, кипели страсти.

С наступлением тепла, в мае, занятия проходили на стадионе, благо он находился совсем рядом со школой. Сдавали нормы ГТО по лёгкой атлетике – прыжки в длину, бег на различные дистанции. В спортивном арсенале Пушкина были и такие легкоатлетические снаряды как ядро, диск, копьё. И он учил не просто абы как толкнуть это ядро, а грамотно, технично. Ведь мы и в глаза-то не видывали ни копья, ни диска, а уж как обращаться с ними и ведать не ведали.

Но, ничего, находились талантливые ребята, они как-то сходу, слёту осваивали эти премудрости – как закрутить корпус, как послать вперёд плечо, а потом уж руку со снарядам, да так, чтоб снаряд этот летел далеко-далеко, аж за забор стадиона.

С наиболее одарёнными ребятами Пушков занимался по особому графику и, когда готовил их для каких-нибудь выездных соревнований, то тут уж не жалели ни времени, ни сил.

Как, каким образом ему удавалось пробудить, выявить спортивную жилку, даже, казалось бы, и у не очень-то спортивных ребят?

Мои успехи на поприще физкультуры и спорта были весьма и весьма скромны. Что поделаешь? Не наградила меня природа ни приличным ростом, ни особой ловкостью, ни расторопностью. Как-то вот не расстаралась.

Поэтому, играя в волейбол, у меня не получалось выпрыгивать над сеткой до пупка. Прыжки в высоту, в длину, в ширину – прыгай, не прыгай, хоть ты тут лоб разбей, а, как говорят, выше и дальше одного места всё равно не прыгнешь.

Но вот как-то, помнится, это было в начале восьмого класса, втемяшилась мне в голову такая блажь. Я уходил в школу на полчаса пораньше и сразу же шёл на стадион. Раздевался до трусов – благо осень стояла на диво тёплая, и бежал гаревой дорожке круга три-четыре. Без напряга бегал, в своё удовольствие.

Потом стал бегать чуть порезвей и кругов стал прибавлять. Мышцы ног поначалу побаливали, но это быстро прошло, и в теле стала появляться некая трепетная радость. Так я бегал до тех пор, пока гаревые дорожки не занесло снегом.

Ну, что же – занесло, так занесло. Лыжи, коньки тоже неплохая вещь.

В апреле, как только сошёл снег, я вспомнил про гаревую дорожку и возобновил свои пробежки. Утром на стадионе ни души, да если бы и был кто – кому какое дело до меня?

И вот в середине мая Пушкин повёл нас на стадион сдавать эти самые нормы ГТО. В числе прочего надо было бежать дистанцию 1000 метров.

Бежим. «Быстроногие» ребятки идут кучкой, вместе. Трое их или четверо. Я чуть позади. Пробежали примерно половину. Тут слышу, будто бы ноги мои говорят мне – давай, парень, жми! Я поднажал, вышел вперёд. И «быстроногие» поднажали. Я прибавил ещё чуток. Смотрю – «быстроногие» что-то стали отставать. На последней прямой я выложил всё, что имел. А «быстроногие» сдохли, дыхалка подвела.

Лучший друг мой Лёва Юшин, весь красный, как рак, отдуваясь и отплёвываясь липкой слюной, подошёл ко мне: « Ты чё – озверел? Ты чего рванул-то?» «Да не знаю... Так уж получилось. Я не виноват». Лёва всё ещё возмущался: « Не виноват он...»

И всё-таки это чертовски приятно утереть всем нос и прийти первым!

Борис Александрович ничего тогда не сказал. Хвалить он не любил. Просто глядел на меня из-под козырёчков век с одобрением и с какой-то лукавинкой, хитринкой. Но после этого стал ставить меня на этап то межшкольной, то ещё какой эстафеты...

Пушкин был ещё и хорошим лыжником. Когда он облачался в лыжную форму – белые парусиновые брюки, красные гетры, красный пушистый свитер, на

него было любо-дорого поглядеть. Катались обычно в городском парке. И нормативы всякие сдавали там же.

Но вот как-то раз на одном из уроков повёл он нас просто покататься с горок в Змановский овраг. С горок кататься многие из нас умели неплохо, уж в чём, в чём, а в этом деле навык был. Полуприсел, палки под мышки и – пошёл! Главное устоять внизу, когда горка переходит в ровную плоскость, когда сила инерции так и вдавливает тебя в подошву горы. Устоял – и всё! Дальше лыжи плугом, и шагай опять в гору.

Катаемся, выхваляемся друг перед другом, и вот смотрим – Борис Александрович забрался на самую высокую и самую крутую горку, встал в какую-то особую стойку – выпрямился, руки заложил за спину, одну ногу чуть выдвинул вперёд и так, статуей, спустился вниз. Мы от зависти раскрыли рты. Вот это да! Вот это учитель!

Лыжная трасса для соревнований и для тренировок лыжной секции проходила в Вауленском овраге. Это далеко от школы, и там тренировки проходили в выходной день. Многие тогда на лыжах ходили хорошо, но в наше время одним из лучших был Антон Шамин. Он жил в Ионове – от школы километров пять, но зимой каждый день и в школу приходил на лыжах, и после уроков на лыжах же уходил домой. Росточком был не велик, но лыжи, лыжный спорт любил фанатично.

Настойчивость, упорство принесли плоды – он стал мастером спорта и долгое время заведовал кафедрой физкультуры и спорта в Нижегородской архитектурно-строительной академии.

Да и разве один только Шамин? Разве можно перечесть сколько его питомцев стали спортсменами-разрядниками, сколько, полюбив спорт на всю жизнь,

окончили факультет физвоспитания? Пусть кому-то спорт и не принёс громкого имени, известности, но он стал спутником и добрым другом на всю жизнь.

Борис Александрович был участником Великой Отечественной войны. В начале очерка я упомянул, что он немного прихрамывал. Так ведь это он на фронте получил ранение в ногу. И тем не менее как он тянул носочек, выполнял гимнастические упражнения, как твёрдо стоял после соскока со снаряда!

Борис Александрович Пушков был сильным человеком. И все же скрутил, и, в конце концов, задушил его Зелёный Змий, жестокий и безжалостный. В последнее время он работал на пилораме в деревообрабатывающем цехе завода. В очередной раз «приняв на грудь» лишку, он плакал. Плакал и говорил мужикам из бригады: « Всё! Всё, мужики! С понедельника «завязываю»! Надо восстанавливаться. Буду качать пресс, мышцы. Восстанавлиюсь – и пойду в школу. Ведь я же учитель!»

Но проходил один понедельник, другой... А Борис Александрович Пушков, талантливый учитель физкультуры, так и не смог восстановиться...

В школе он появился в начале пятидесятых годов. Только что окончивший пединститут, молодой и весёлый, с открытой, задорной улыбкой, он, будто свежий майский ветер в распахнутое окно, вторгся в будничную, нет, не затхлую, конечно, - это было бы уж слишком, — но в устоявшуюся, размеренную жизнь школы.

Главным его преимуществом перед другими была его молодость. Война, если и задела его, то так — самым краешком крыла. В 1941-м ему было двенадцать лет...

А остальные девять школьных учителей-мужчин — они ведь сполна хлебнули лиха за четыре военных года. И на каждого почти война наложила свой суровый отпечаток, нанесла раны телесные, а если не телесные, так не менее болезненные раны душевные.

Персидского миновала чаша сия. И если у учителей-фронтовиков нрав зачастую был крутенок, то Персидский по молодости лет позволял себе и небольшие вольности. И он сразу же влюбил в себя учившихся у него ребят.

В школьном коридоре то и дело можно было слышать: «А Персидский нам сказал...», «А ты знаешь у Персидского на уроке чего было — обхохочешься...», «Слушай, нам Персидский на перемене анекдот загнул...»

Вячеслав Алексеевич преподавал у нас в те годы русский язык и литературу, с восьмого по десятый класс. А ещё в восьмом классе был и классным руководителем. Как классный руководитель он должен был организовать к октябрьским праздникам выпуск

стенгазеты. Узнать в учительской кто в классе на это дело мастак было проще пареной репы. После уроков подозвал меня: «Пойдём со мной на квартиру, я тебе дам лист ватмана».

Пришло.

«Ну что, заголовок, передовица – это всё само собой. Но ведь надо ещё лентяев, лодырей продёрнуть, пропесочить. Как ты думаешь? Карикатуру надо нарисовать. Сочинишь сам? Нет? Ну, давай вместе сочинять. Вот здесь нарисуешь лодыря, а у него над головой висит «дамоклов меч», и ручка у меча в виде двойки. Пожирней двойку-то. Знаешь, что такое «дамоклов меч»?»

Я пожал плечами: «Да... нет...»

«Ну, что ж ты, братец? Это ведь в четвёртом веке до нашей эры было...» Сказал так, как будто бы это было позавчера и не далее как на соседней улице. Потом поведал историю про тирана Дионисия и про причандала его Дамокла. Дамокл по простоте душевной считал, что сидеть на троне да повелевать всяк дурак сможет. Сиди да в потолок поплёвывай.

«Посадил Дионисий Дамокла на свой трон на один день. Сидит Дамокл, хотел разок в потолок плюнуть, голову поднял – а над ним, над самой головой, меч на конском волосе подвешен. Понял тогда, что не так уж легка царская участь.

Отсюда и пошло, «дамоклов меч» – это угроза опасности. У лентяев угроза опасности – превратиться в двоечников».

Сколько раз потом и на уроках и так – походя, как бы между прочим – задавал он этот вопрос: «А знаете ли вы...» И то, что он знал, как-то исподволь отпечатывалось в наших головах.

На уроках он любил читать, читать то, что проходили на данный момент по программе.

«Ведь дома всё равно ничего не прочитают, чертенята! Задавай, не задавай...»

И вот он открывал книгу, где-нибудь в самом интригующем месте повествования и начинал: «Чёрт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал её руку с такими ужимками, как заседатель у поповны...»

А когда доходил до диалога Солохи с дьяком Осипом Никифоровичем:

— А это что у вас, дражайшая Солоха? То сам не мог уже удержаться от смеха, смех переходил в хохот, а хохот доходил аж до слёз. Глядя на него и весь класс начинал хихикать, смеяться, хохотать. И это было непритворно, ненаигранно. Просто нравилось ему это место в гоголевской «Ночи перед Рождеством» да и всё тут.

Разумеется, на уроке прочитать всю повесть до конца ему не хватало времени. Но ему главное было раззадорить, зацепить, вызвать любопытство – а что же дальше-то было? И дома – пусть уж даже и не все – но кто-то всё-таки брал в руки книжку и читал этот изумительный шедевр молодого Гоголя...

Ну, а «Мёртвые души»? Будут эти оболтусы читать «Мёртвые души»? Сейчас! Подставляй карман шире.

И Персидский опять открывает книгу:

«... я гадость не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму её в рот, и устрицу тоже не возьму: я знаю на что похожа устрица».

Или в другом месте, про Ноздрёва:

— Давненько не брал я в руки шашек!

— Знаем мы вас, как вы плохо играете!

На переменке оболтусы долго напрягали ум, чтобы допереть, что же всё-таки напоминала Собакевичу устрица.

Все эти гоголевские «примочки» врезались благодаря Персидскому на всю оставшуюся жизнь, а если выпадал подходящий случай, то и использовались со вкусом, с удовольствием.

Персидский давал понять и почувствовать красоту, особенности стиля великих кудесников русского языка – Пушкина, Лермонтова, Толстого. Постоянно от урока к уроку он приучал нас любить читать.

Вот дошли мы, допустим, уже и до советского классика Маяковского. Вячеслав Алексеевич «для начала, для порядка» читает нам «Облако в штанах». Остановится на какой-то фразе, ну вот хотябы на такой – «дождь обрыдал тротуары». Помолчит. Потом сделает рукой так, как будто на ладони взвешивает или показывает её, эту фразу: «Слово-то какое нашёл – «обрыдал»!

Не по верхушкам пробежаться, а получить от чтения и пользу и удовольствие – вот чему учил Персидский. Учил читать по-настоящему.

И писать по настоящему, всерьёз, давал попробовать. Как-то, придя в класс, выдал: «Будете писать очерк!» Ого! А что это такое, и с чем его едят? Большинство даже и не знали. Персидский разбил нас на группы по три, по четыре человека, для каждой определил героя будущего очерка – это были Герои или рядовые участники Отечественной войны, горьковчане.

И закипела работа. Мы искали адреса, списывались с родственниками погибших, собирали документы, фотографии, вырезки из фронтовых газет. По крупицам собирали фактический, документальный материал.

Теперь этому материалу надо было придать некую художественную форму. Все загорелись, всем впервые, пожалуй, захотелось написать не ради хорошей оценки, а от души. Персидский потирал руки – а ну-ка, дорогие ученички, попробуйте на зуб, что это такое работа журналиста!

В нём самом журналистская жилка жила и билась уже тогда, в середине 1950-х годов. Ему всё время хотелось что-то выведать, откопать что-то неизвестное или малоизвестное и напечатать, пусть сначала в районной газете, а со временем и в брошюрку, а то и книжечку выпустить.

В 1966 году Вячеслав Алексеевич Персидский стал членом Союза журналистов СССР. А для этого надо было иметь кой-какой багаж. И вот пошло, дальше – больше.

Один за другим появлялись в печати очерки о старейшем предприятии города завода имени Ульянова (Ленина), об интереснейшем местном промысле – гипюрной строчке, о Героях земли чкаловской, о Чкалове...

Но, пожалуй, самой весомой работой Персидского, проведённой совместно с участниками отряда «Поиск» стала книга «Авиаэскадрилья «Валерий Чкалов». В конце 1980-годов, уже будучи директором школы №5, Вячеслав Алексеевич сумел вовлечь не один десяток ребят в поисковую работу по изучению истории авиаэскадрильи «Валерий Чкалов», самолёты для которой выпускали в период войны на Горьковском авиационном заводе.

За несколько лет кропотливой работы группой «Поиск» был накоплен богатейший материал, который и лёг в основу книги. Она о тех, на чьи средства строилась

авиаэскадрилья, о тех, кто создавал и строил самолёты, кто геройски сражался на них на фронтах Великой Отечественной войны.

Прикоснуться вплотную к Подвигу! Вот как воспитывал патриотизм Учитель Персидский.

Сейчас много говорят о необходимости беречь природу, окружающую среду. Нередко с любовью о природе писал на страницах журналов и газет и Персидский.

А ещё... а ещё он сажал деревья. Сажал сам, сажал с учениками. Он знал и твёрдо верил, что любовь к природе начинается с первого посаженного собственными руками дерева. Оно будет помниться всю жизнь.

Не сосчитать – сколько деревьев посадили ребята-школьники под руководством Персидского. Миллионы! А всё начиналось опять же с нашей четвёртой школы. Осенью 1956 года весь наш класс вывел Персидский на посадку липок вдоль тротуара напротив школы. Не один десяток деревьев посажено было в парке Победы, когда он только ещё закладывался.

Фруктовые деревья, вишни сажали ребята на улицах, прилегающих к третьей школе, в годы, когда он там был директором. По весне эти улицы превращаются в белокипенно цветущий сад.

В 1967 году к 50-летию Октября на крутом берегу Волги на улице Чкалова ученики третьей школы высадили 1200 дубков. Сейчас там дубовый парк. Поредел, правда, немного за истекшие годы и не очень ухожен. Но это уже издержки нашего времени.

В 1970 году Вячеслав Алексеевич Персидский стал директором школы №5, и вот уже в 1971 году там было создано школьное лесничество. Разумеется по

инициативе Персидского. Всем членам школьного лесничества была подарена форма лесника, фуражка с кокардой, значки защитника леса.

Под руководством опытных лесничих ребята ежегодно высаживали саженцы хвойных деревьев в многих и многих десятках гектаров лесной земли.

Прошли годы. И шумят школьные рощи! Рощи Персидского!

А ещё одна, пожалуй, самая главная, самая пламенная страсть Вячеслава Алексеевича – это туризм. Страсть к путешествиям.

Этой страстью, едва переступив порог школы, сразу же, будто инфекцией, будто чумой какой-то он заразил чуть ли не всех учеников поголовно. О походах, о лесной керженской глухомани, о болотах и озёрах, о речках с золотым дном, о ночёвках у костра он говорил с таким энтузиазмом, с таким жаром, что в это время в его карих глазах будто и впрямь плясали отсветы костра, и эти рассказы захватывали в плен наши ребячьи души.

Первый тренировочный поход по просторам лесного Заволжья, как говорится, подлил масла в огонь. В весенние каникулы отряд человек из 30 отправился через Горьковское водохранилище на другую его сторону. Шли по хорошо проторённой дороге-зимнику. А там, на другой стороне, леса, редкие деревеньки, узкие тропки через лес. Топаем – от деревни к деревне, от избы к избе. У старых выпытывали частушки да поговорки-пословицы. Смеются старухи, стесняются. Иная всё же и скажет что-то, прикрывая беззубый рот сухой, морщинистой рукой.

А вечером – костёр. Лесной костёр, большой с искрами до неба. Жаркий – рядом стоять невозможно. И

песня – « Глобус крутится, вертится, словно шар голубой...» Она, эта песня, стала нашим гимном, она сопровождала нас долго, на всех туристских дорогах и тропах лета 1957 года...

Ночевали в лесном Заволжье, конечно, уж не в палатках. Ночевали в сельской школе, на полу, вповалку. Когда надышишься ядрёным мартовским воздухом, сладким духом лесной хвои, в это время хорошо уже прогретой солнышком, когда досыта надышишься дурманящим дымком костра, и , главное, когда тебе всего 15 лет, сон и на полу крепок и отраден.

Через три дня мы вернулись домой с закопчёнными – ещё бы, три дня и всё на солнце, под небом ясным. По школе мы ходили весьма и весьма гордые тем, что ходили в поход с Персидским, и как же нам завидовали те, кто в этот поход не ходил.

Мы же во сне и наяву бредили и мечтали о новых походах.

Персидский видел в туризме прежде всего хорошую школу мужества. И то правда – в походе нет тебе ни тёплой постельки, ни вкусного, сваренного мамой борща, ни, в конце концов, даже элементарного зонтика, если пошёл дождь.

Туризм приучает к жизни спартанской, он развивает чувство товарищества, самостоятельность в принятии решений и в действиях, вырабатывает твёрдость характера и самодисциплину.

Вот почему так упорно культивировал в школе туризм Вячеслав Алексеевич Персидский.

Отцветала черёмуха. Терпкий, горьковатый аромат её ни с чем не спутаешь. Водишь, водишь носом, вертишь, вертишь головой – не нигде черёмухи, а запах так и кружит голову. Да где же это она? А она стоит себе скромно вон там, за углом соседнего дома, и не видно её. Зато уж – благоухает!

Мы же, между прочим, окончили десять классов. Как полагается – общешкольная линейка, последний звонок. А дальше – выпускные экзамены...

Зацвела сирень. Буйно зацвела, с какою-то страстной неудержимой силой. Весь городок лиловой кипенью залила. Кисти, гроздьё её, тяжёлые, влажные от ночного дождя так и переваливаются через заборы, через штакетник палисадников. Запах – о! этот запах с ума может свести! И как тут не соблазниться, если проходишь мимо, чтобы не сломить веточку с кистями густо-лилового цвета, а потом ещё одну – цвета бледно-голубого, и ещё – нежно-нежно сиреневого. А цветки-то – крупные, крупные! И вся гроздь будто бы вырезана из одного цельного куска искусным мастером-ювелиром.

А ну-ка погоди, погоди! Нет ли тут цветочка с пятью лепестками? Нет... Жалко... Да вот же он! И обрадуешься – скоро счастье подвалит!

И как-то по-особому прелестна белая сирень. Это же сама невинность! Это невеста под фарою, вся дрожа от волнения, собралась под венец!

Поздним вечером, после гулянки – а в мае и в поздний вечер всё равно светло – наломаешь огромную-преогромную охапку сирени, дома поставишь её в трёхлитровую банку. Стоит сирень на столе, а кисти

свесила чуть ли не за его края. И даже задохнёшься от дурманящего запаха, и приходится окошко приоткрывать...

И спать вроде бы уж пора, да разве можно уснуть в такую вот ночь? Из полуоткрытого окна и призывно, и тревожно тянет ночной свежестью, юностью, маем! Да ещё и соловей выдаёт колено за коленом, одно другого замысловатее. Они с соловьиной каждую весну ка-то умудряются найти и заселить свой укромный уголок в непролазной гуще, в зарослях малинника и вишеня на задах соседнего огорода.

Но спать не даёт ещё и сладко ноющая мука от того, что где-то там внутри, в груди, в душе – да Бог его знает где! – тоже начало расцветать, выпускать робкие нежные лепестки небывалое, неведомое доселе чувство. Оно распирает всю грудь и не даёт уснуть ещё долго, долго...

Утром просыпаюсь совершенно свежим. И лёгкость, лёгкость необыкновенная во всём теле. Кажется, вот ещё чуть-чуть – и появится способность подниматься и парить над землёю. Выпиваю стакан молока с хлебом. Надеваю чистую белую полотняную рубашку. Такие рубашки – очень добротные, между прочим, – привозили в те годы к нам от китайских друзей. Разумеется, надеваю ещё и штаны, и белые парусиновые тапочки, и после этого иду в сад.

В саду стоит яблоня-китайка. Старая-престарая. Большая-пребольшая. Ветви её распростёрлись чуть не на весь сад-огород, а самые верхние достают даже медленно плывущие по синеве неба белые облака. Впереди яблони – забор, но он совершенно не мешает ветвям перекинуться через него и протянуть свои корявые руки навстречу всем добрым людям.

В августе, когда китайка поспевает, эти передние ветви, отягощённые яблочками – миллионами яблочек! – свисают прямо до земли, и вся трава сплошь бывает усеяна, алыми с одного бочка и золотистыми с другого, яблочками. Их в траве так много, что и самой травы не видать.

И все ребятки – и с нашей улицы, и с других улиц – приходят и набивают яблоками полные карманы, да и под рубаху ещё насуют, и в кепку положат. Всем хватало, и оставалось ещё много. Весь ребячий мир готова была оделить наша добрая старушка яблоня.

Я снаружи яблочки уж и не подбирал никогда. Пройду через калитку, наберу в корзинку и высыплю на чердак, на фанерку. Вот полежат яблочки на чердаке недели две, подвянут, обмякнут рассыпчатыми и до того ли ароматными! Бывало – в сентябре уже – пойдёшь в школу, слезишь на чердак, положишь в сумку с десяток этих маленьких солнышек. За партой сидишь, а чувствуешь, как по всему классу разносится этот тонкий томительный дух вылежавшихся яблочек...

Ну, ладно. Давай вернёмся всё-таки в май. Так вот, в мае эта огромная-преогромная яблоня, сплошь, снизу доверху, укрытая цветами, становилась похожей на необъятную снеговую гору. Снизу-то – задирай, не задирай голову – а верхушки всё равно не видать. Надо ли говорить, какой свежий, чистый аромат шёл от этой горы? Как рыбак или охотник, сидя вечером у костра, насквозь пропитывается его дымком, так и я всем существом, каждой клеткой тела впитывал в себя этот дух молодости, весны и счастья.

На улицах, по которым я обычно справляюсь в школу, с таким же неистовством везде – во всех садах,

огородах, палисадниках – всюду цветут вишни, сливы, яблони.

И даже в школе девочки-одноклассницы в белоснежных фартучках с крылышками, похожими на крупные яблоневые лепестки, в белых кружевных воротничках и с белыми бантами в косах, даже и они очень сильно напоминали юные, только что расцветшие деревца.

Вхожу в комнату, в класс, где принимают экзамены, беру билет. Я даже и не заглядываю, что там написано на этой узенькой бумажке. Зачем? Дождавшись очереди, присаживаюсь к столу, за которым восседает экзаменационная комиссия. Преподаватели, члены комиссии, несколько мгновений, как бы чего-то недопонимая, с удивлением смотрят на меня, потом смотрят друг на друга. И наконец, начинают улыбаться все, все до одного. Все до единого они находятся под действием некоего гипноза, единодушно соглашаются, что мне всенепременно надо поставить... ну, что, какую оценку можно выставить человеку, насквозь пропитанному духом белого яблоневого дыма, из самих глаз которого так и хлещет свет лучезарных небес, да и вообще – пьяного вдребадан от весеннего напитка любви... Эманации, флюиды, исходившие от меня, подобно наркотическому средству действовали на комиссию, они подпадали в моё поле на минуту-другую, и ... И я лёгкою, безмятежною походкой покидаю класс...

... Сказать, что она была кудрявой, это значило бы ничего не сказать. Каждый волос на её голове, а их, волос то есть, было столько же, сколько звёзд на небе, был похож на длинную пружинку, непослушную упрямую. Ещё бы – ведь каждый волосок кто-то

старательно накручивал на калёный гвоздик, и вот теперь они не убирались на голове. Что за наказание...

У неё были зеленоватые глаза, с лучистой искоркой, чуть-чуть, совсем немножко – раскосые. И лицо немножко азиатское, с широкими скулами и приплюснутым носом.

Мы договаривались и вечером на велосипедах уезжали куда глаза глядят, но так далеко, что возвращались уже затемно.

Мы были чисты, наивны и безгрешны, как два ангела.

... Выпускной бал! Школьный выпускной бал! Музыка! Все нарядные до невозможности! Все танцуют, а мы с ней стоим неподалёку друг от друга, как два библейских соляных столба. На мне впервые в жизни приличный двубортный пиджак и даже приличный синий в шашечку галстук. Классный руководитель, конечно же, давным-давно о нас всё знает, и видя нашу робость, подталкивает нас друг к другу.

О! Какая же краска – красней фуксина! – заливает наши щёки. О! Какой силы электрический ток пронзил всё тело до самых мелких жилок! И какое блаженство! И какое счастье!

После бала мы гуляли до утра, до рассвета. Но мы были оба, как два ангела с крыльями за спиной – белыми и чистыми, и лёгкими, как яблоневый дым.

Через день я выглянул в окошко. Да что же это такое? Снег что ли выпал, это в конце-то мая? Пригляделся – да нет, не снег. Это наша огромная старая яблоня сбросила весь свой цвет себе под ноги...

